



**В.П. АСТАФЬЕВ**

**РАССКАЗЫ**



**ПРОЕКТ  
“БИБЛИОТЕКА В КАРМАНЕ”**

МБУК Ростовская-на-Дону городская  
централизованная библиотечная система

# Конь с розовой гривой

Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребяташки собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними.

— Наберешь туесок. Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.

— Конем, баба?

— Конем, конем.

Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые. Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник — совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от ужаса — потерял, — хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться — тут он, тут конь-огонь!

С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к тебе так и этак ластаня, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня либо лизнуть его. Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.

Левонтий, сосед наш, работал на бадогах вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготавливал лес на бадоги, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села, по другую сторону Енисея. Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать я точно не помню, — Левонтий получал деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни ребяташки и ничего больше, начинался пир горой. Какая-то беспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васеня — жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями.

— Кума! — испуганно-радостным голосом восклицала она. Долг-от я принесла! — И Тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.

— Да стой ты, чумовая! — окликнула ее бабушка. — Сосчитать ведь надо.

Тетка Васеня покорно возвращалась, и, пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.

Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из «запасу» на черный день бабушка никогда Левонтьихе не давала, потому как весь этот «запас» состоял, кажется, из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, когда и на целый трояк.

— Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое! напускалась бабушка на соседку. — Мне рупь, другому рупь! Что же это получится? Но Васенья опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась.

— Передала ведь!

Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал, била себя руками по бедрам, плевалась, я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.

Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами — ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни. Даже бани у дяди Левонтия не было, и они, левонтьевские, мылись по соседям, чаще всего у нас, натаскав воды и подводу дров с известкового завода переправив.

В один благой день, может быть, и вечер дядя Левонтий качал зыбку и, забывшись, затянул песню морских скитальцев, слышанную в плаваниях, — он когда-то был моряком.

Приплыл по акияну Из Африки матрос, Малютку облизыяну Он в ящике привез...

Семейство утихло, внимая голосу родителя, впитывая очень складную и жалостную песню. Село наше, кроме улиц, посадов и переулков, скроено и сложено еще и попесенно — у всякой семьи, у фамилии была «своя», коронная песня, которая глубже и полнее выражала чувства именно этой и никакой другой родни. Я и поныне, как вспомню песню «Монах красотку полюбил», — так и вижу Бобровский переулок и всех бобровских, и мураши у меня по коже разбегаются от потрясенности. Дрожит, сжимается сердце от песни «шахматовского колена»: «Я у окошечка сидела, Боже мой, а дождик капал на меня». И как забыть фокинскую, душу рвущую: «Понапрасну ломал я решеточку, понапрасну бежал из тюрьмы, моя милая, родная женушка у другого лежит на груди», или дяди моего любимую: «Однажды в комнате уютной», или в память о маме-покойнице, поющуюся до сих пор: «Ты скажи-ка мне, сестра...» Да где же все и всех-то упомнишь? Деревня большая была, народ голосистый, удалой, и родня в коленах глубокая и широкая.

Но все наши песни скользом пролетали над крышей поселенца дяди Левонтия — ни одна из них не могла растревожить закаменелую душу боевого семейства, и вот на тебе, дрогнули левонтьевские орлы, должно быть, капля-другая моряцкой, бродяжьей крови путалась в жилах детей, и она-то размыла их стойкость, и когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна, и распахнутые двери выплескивается дружный хор:

Сидит она, тоскует Все ночи напролет И песенку такую О родине поет: «На теплом-теплом юге, На родине моей, Живут, растут подруги И нет совсем людей...»

Дядя Левонтий подбуровливал песню басом, добавлял в нее рокоту, и оттого и песня, и ребята, и сам он как бы менялись обликом, красивше и сплоченней делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным, ровным руслом. Тетка Васенья, непереносимой чувствительности человек, оросив лицо и грудь слезами, подвивая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой — сгреб вот какой-то пьяный охламон облизыянку, утащил ее с родины невесть зачем и на че? А она вот, бедная, сидит и тоскует все ночи напролет... И, вскинувшись, вдруг впивалась мокрыми глазами в супруга — да уж не он ли, странствуя по белу свету,

утворил это черно дело?! Не он ли свистнул облизьянку? Он ведь пьяный не ведает, чего творит!

Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только возможно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять: когда и зачем он увез из Африки обезьяну? И, коли увез, умыкнул животную, то куда она впоследствии делась?

Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы.

Танька левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом, обо всем ихнем заведении:

— Зато как тятка шурунет нас — бегишь и не запнешша.

Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубахе, вовсе без пуговиц. Садился на истюканый топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий благодушно почесывался.

— Я, Петровна, слободу люблю! — и обводил рукою вокруг себя:

— Хорошо! Как на море! Ништо глаз не угнетат!

Дядя Левонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его полочки, послушать песню про малютку обезьяну и, если потребуется, подтянуть могучему хору. Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед.

— Нечего куски выглядывать, — гремела она. — Нечего этих пролетарьев объедать, у них самих в кармане — вошь на аркане.

Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к левонтьевским, тут уж все, тут уж я окружен бывал редкостным вниманием, тут мне полный праздник.

— Выдь отсюда! — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом: — Он сирота, а вы всешки при родителях! — И, жалостно глянув на меня, взрывал: — Мать-то ты хоть помнишь ли? Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облакачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая; — Бадоги с ней по один год кололи-и-и! — И совсем уж разрыдавшись: — Когда ни придешь... ночь-полночь... пропа... пропащая ты голова, Левонтий, скажет и... опохмелит...

Тетка Васеня, ребяташки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол и все наперебой угощали меня и сами ели уже через силу, потом затягивали песню, и слезы лились рекой, и горемычная обезьяна после этого мне снилась долго.

Поздно вечером либо совсем уже ночью дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?!» После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки левонтьевские тоже хватали что попадало под руки и разбегались кто куда.

Последней ходу задавала Васеня, и бабушка моя привечала ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.

На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу. Тетка Васеня дня через три-четыре снова ходила по соседям и уже не взметывала юбкою вихрь, снова занимала до получки денег, муки, картошек — чего придется.

Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку, берестяные тuesки, кринки, обвязанные по горлу бечевками, у кого ковшики без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и, поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя луку-батуна, наелись до зеленой слюны, остатки побросали. Оставили несколько перышек на свистульки. В обкусанные перья они пищали, приплясывали, под музыку шагалось нам весело, и мы скоро пришли на каменистый увал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую.

Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького тuesка стакана на два-три.

Бабушка говорила: главное в ягодах — закрыть дно посудыны. Вздохнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее, да и попадалось ее выше по увалу больше и больше.

Левонтьевские ребятишки сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам нечего и незачем.

Вдруг крышка чайника забренчала нервно, послышалась возня.

— Ешь, да? Ешь, да? А домой че? А домой че? — спрашивал старшой и давал кому-то тумака после каждого вопроса.

— А-га-га-гааа! — запела Танька. — Шанька шажрал, дак ничо-о-о...

Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал, брал ягоды да и задумался: он для дома старается, а те вон, дармоеды, жрут ягоды либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили.

После драки и у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленные ягоды — и в рот их, в рот.

— Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя! Вам можно, а мне, значит, нельзя? — зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать.

Вскоре братья как-то незаметно помирились, перестали обзывать и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться.

Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому что еще не набрал полную посудину.

— Бабушки Петровны испугался! Эх ты! — закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся, может, стеснялся употреблять поганство и несмело заявил:

— Зато мне бабушка пряник конем купит!

— Может, кобылой? — усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул; — Скажи уж лучше — боишься ее и еще жадный!

— Я?

— Ты!

— Жадный?

— Жадный!

— А хочешь, все ягоды съем? — сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными окровавленными глазами, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят.

— Слабо! — сказал он.

— Мне слабо! — хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там было ягод уже выше середины. — Мне слабо?! — повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву: — Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких, гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод. Грустно. Тоска на сердце — предчувствует оно встречу с бабушкой, отчет и расчет. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на все рукой — теперь уже все равно. Я мчался вместе с левонтьевскими ребятами под гору, к речке, и хвастался:

— Я еще у бабушки калач украду!

Парни поощряли меня, действуй, мол, и не один калач неси, шанег еще прихвати либо пирог — ничего лишнее не будет.

— Ладно!

Бегали мы по мелкой речке, брызгались студеной водой, опрокидывали плиты и руками ловили подкаменщика — пищуженца. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, сравнил ее со срамом, и мы растерзали пищуженца на берегу за некрасивый вид. Потом

пуляли камни в пролетающих птичек, подшибли белобрюшку. Мы отпаивали ласточку водой, но она пускала в речку кровь, воды проглотить не могла и умерла, уронив головку. Мы похоронили беленькую, на цветочек похожую птичку на берегу, в гальке и скоро забыли о ней, потому что занялись захватывающим, жутким делом: забегали в устье холодной пещеры, где жила (это в селе доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька — его и нечистая сила не брала!

— Это еще че! — хвалился Санька, воротившись из пещеры. — Я бы дальше побег, в глыбь побег ба, да босый я, там змеев гибель.

— Жмеев?! — Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки.

— Домовнику с домовым видел, — продолжал рассказывать Санька.

— Хлопуша! Домовые на чердаке живут да под печкой! — срезал Саньку старшой.

Санька смешался было, однако тут же оспорил старшого:

— Дак тама какой домовой-то? Домашний. А тут пещерной. В мохе весь, серай, дрожмя дрожит — студено ему. А домовника худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подманишь, подойди только схватит и слопает. Я ей камнем в глаз залимонил!..

Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать, чудилось — вот совсем близко в пещере кто-то все стонет, стонет. Первой дернула от худого места Танька, следом за нею и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару.

Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уже забыл про ягоды, но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.

— Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! — заржал Санька. Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарошно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!..

Я и сам знал, что им-то, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!». Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васеня, от нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься.

Тихо плелся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой, гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, от него отскакивали остатки эмалировки.

— Знаешь че? — проговорив с братьями, вернулся ко мне Санька. — Ты в туес травы натолкай, сверху ягод — и готово дело! Ой, дитятко мое! — принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. — Пособил тебе воспо-одь, сиротинке, пособи-ил. И подмигнул мне бес Санька, и помчался дальше, вниз с увала, домой.

А я остался.

Утихли голоса ребятни под увалом, за огородами, жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, в ней домовника с домовым, змеи кишмя кишат. Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул, но надо было слушать лес,

траву, домовые из пещеры не подбираются ли. Тут хныкать некогда. Тут ухо остро держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травую туго туюсок, на бычке, чтоб к свету ближе и дома видать, собрал несколько горсток ягодок, заложил ими траву — получилось земляники даже с копной.

— Дитятко ты мое! — запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину. — Восподь тебе пособил, воспо-дь! Уж куплю я тебе пряник, самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, прямо в этом туюске увезу...

Отлегло маленько.

Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла туюсок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего и жизнь не так уж худа.

Я поел, отправился на улицу играть, и там дернуло меня сообщить обо всем Саньке.

— А я расскажу Петровне! А я расскажу!..

— Не надо, Санька!

— Принеси калач, тогда не расскажу.

Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке, под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался.

«Бабушку надул. Калачи украл! Что только будет?» — терзался я ночью, ворочаясь на полатах. Сон не брал меня, покой «андельский» не снисходил на мою жиганью, на мою варначью душу, хотя бабушка, перекрестив на ночь, желала мне не какого-нибудь, а самого что ни на есть «андельского», тихого сна.

— Ты чего там елозишь? — хрипло спросила из темноты бабушка. — В речке небось опять бродил? Ноги опять болят?

— Не-е, — откликнулся я. — Сон приснился...

— Спи с Богом! Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко...

«А что, если слезть с полатей, забраться к бабушке под одеяло и все-все рассказать?»

Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю бабушку, расскажу обо всем: и про туюсок, и про домовнику с домовым, и про калачи, и про все, про все...

От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, потом замелькал лес, трава, земляника, завалила она и Саньку, и все, что виделось мне днем.

На полатах запахло сосняком, холодной таинственной пещерой, речка прожурчала у самых ног и смолкла...



Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи да большой загон посажен картошек. О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши жили пока единолично. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно, никакого утеснения и надзора, бегай хоть до самой ночи. Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но очень уемисто и податливо.

Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но пять километров для меня были тогда непреодолимым расстоянием. И Алешки нет, чтобы с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать.

Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не мог придумать, как податься к левонтьевским.

— Уплыла Петровна! — ухмыльнулся Санька и цыркнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он в нее цыркал слюной!

Санька собирался на рыбалку, распутывал леску. Малые его братья и сестры толкались подле, бродили вокруг скамеек, ползали, ковыляли на кривых ногах.

Санька раздавал затрешины направо и налево — малые лезли под руку, путали леску.

— Крючка нету, — сердито буркнул он, — проглотил, должно, который-то.

— Помрет?

— Ништя-ак! — успокоил меня Санька. — Переварят. У тебя много крючков, дай. Я тебя с собой возьму.

— Идет.

Я помчался домой, схватил удочки, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину, спускавшуюся прямо в Енисей по-за логом.

Старшего дома не было. Его взял с собой «на бадюги» отец, и Санька командовал напропалую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задирался зря и, мало того, усмирал «народ», если тот начинал свалку.

У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поклевал на них и «с руки» закинул лески, чтобы дальше закинулось, — всем известно: чем дальше и глубже, тем больше рыбы и крупней она.

— Ша! — вытаращил глаза Санька, и мы покорно замерли. Долго не клевало. Мы устали ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться. Санька терпел, терпел и прогнал нас искать щавель, береговой чеснок, дикую редьку, иначе, мол, он за себя не ручается, иначе он всем нам нащелкает. Левонтьевские ребята умели пропитаться «от земли», ели все, что Бог пошлет, ничем не брезговали и оттого были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом.

Без нас у Саньки в самом деле заклевало. Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, он вытащил двух ершей, пескаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб, приспособил их жарить, ребяташки окружили костерок и не спускали глаз с жарева. «Са-ань! — занули они скоро. — Уж изварилось! Са-ань!..»

— Н-ну, прорвы! Н-ну, прорвы! Ужели не видите, что ерш жабрами зеват? Токо бы слопать поскорейча. А ну как брюхо схватит, понос ешли?..

— Понос у Витьки Катерининоного бывает. У нас не-эт.

— Я че сказал?!

Смолкли орлы боевые. С Санькой не больно турусы разведешь, он, чуть чего, и навтыкает. Терпят малые, швыркают носами; нороят огонь пожарче сладить. Однако терпенья хватает ненадолго.

— Ну, Са-ань, вон уж прямо уголь...

— Подавитесь!

Ребята сцапали палочки с жареной рыбой, разорвали на лету и на лету же, постанывая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба, съели и в недоумении огляделись: уже?! Столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мой ребяташки тоже незаметно смолотили и занялись кто чем: вытаскивали из норок береговушек, «блинали» каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, быстро выскочили из реки отогреться у костра. Отогрелись и упали в еще низкую траву, чтоб не видать, как Санька жарит рыбу, теперь уже себе, теперь его черед, и тут уж проси не проси — могила. Не даст, потому как сам пожрать любит пуще всех.

День был ясный, летний. Сверху пекло. Возле поскотины клонились к земле рябенькие кукушкины башмачки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки-граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от жары, сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и, если долго смотреть на него, — кружевце истоньшалось и рвалось.

Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет! И зачем я так сделал? Зачем послушался левонтьевских? Вон как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое избавление. Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет да еще дедушка — и все, бабушка только кричит, еще нет-нет да поддаст — у нее не задержится. Главное, дедушки нет. На заимке дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит: «Потатчик! Своим

всю жизнь потачил, теперь этого!..»«Дедушка ты дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял бы меня с собою!»

— Ты чего нюнишь? — наклонился ко мне Санька с озабоченным видом.

— Ничего-о-о! — голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни.

— Ништя-ак! — утешил меня Санька. — Не ходи домой, и все! Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Бойтся — ты тоже утонешь. Вот она как запричитает: «Утону-у-ул мой дитятко, спокинул меня, сиротиночка», — ты тут и вылезешь!..

— Не буду так делать! — запротестовал я. — И слушаться тебя не буду!..

— Ну и лешак с тобой! Об тебе же стараются. Во! Ключуло! У тебя ключуло!

Я свалился с яра, переполошив береговушек в дырках, и рванул удочку. Попался окунь. Потом ерш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали.

— Не перешагивай через удилице! — суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга малышей и таскал, таскал рыбешек. Парнишонки надевали их на ивовый прут, опускали в воду и кричали друг на дружку: «Кому говорено — не пересекай удочку?!»

Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты, из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок — лодка вспрыгнула носом, ходко подалась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой двинул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город.

Я рванул от удочек к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнула меня по голове, я с перепугу упал на комья глины, подскочил и бежать по берегу, прочь от лодки.

— Ты куда! Стой! Стой, говорю! — кричала бабушка.

Я мчался во весь дух.

— Я-а-авишша, я-авишша домой, мошенник!

Мужики поддали жару.

— Держи его! — крикнули из лодки, и я не заметил, как оказался на верхнем конце села, куда и одышка, всегда меня мучающая, девалась! Я долго отдыхивался и скоро обнаружил подступает вечер — волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяди Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем краю села.

Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробежал до темноты. Появилась тетя Феня, Кешкина мать, и спросила меня:

— Ты почему домой не идешь? Бабушка потеряет тебя.

— Не-е, — ответил я как можно беспечнее. — Она в город уплыла. Может, ночует там.

Тетя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала, тонкошей Кеша попил вареного молока, и мать ему сказала с укором:

— Все на молочке да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, оттого и крепок, как гриб боровик. — Мне поглянулась тети Фенина похвала, и я уже тихо надеяться стал, что она меня и ночевать оставит.

Но тетя Феня пораспрашивала, пораспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой.

В нашей избе уже не было свету. Тетя Феня постучала к окну. «Не заперто!» — крикнула бабушка. Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух.

Тетя Феня оттеснила меня в сени, втокнула в пристроенную к сеним кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах — на случай, если днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке.

Я зарылся в половики, притих, слушая.

Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе, но о чем не разобрать. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натканной во все щели и под потолком. Трава эта все чего-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа, шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. И все потрескивали сухие травы да цветы под потолком, открывали коробочки, сорили во тьму семечки, два или три запутались в моих полосах, но я их не вытаскивал, страшась шевельнуться.

На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневною жарою собаки приходили в себя, вылазили из-под сеней, крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что положен через Фокинскую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там, поет, пугает припозднившихся ребятишек и стеснительных девчонок.

У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, хозяин принес чего-то на варево. У кого-то левонтьевские «сбодали» жердь? Скорей всего у нас. Есть им время промышлять в такую пору дрова далеко...

Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сенках. Воровато прошмыгнул ко крыльцу кот. Под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала. Не ближний путь в город-то! Восемнадцать верст, да с котомкой. Мне казалось, что, если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается и все мне простит. Придет и простит. Ну разок и щелкнет, так что за беда! За такое дело и не разок можно...

Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь, думая про бабушку и про все жалостное.

Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега, ни унести, ни уговорить ее всем миром не могли. Она все кликала и звала маму, бросала в реку крошки хлебушка, серебрушки, лоскутки, вырывала из головы волосы, завязывала их вокруг пальца и пускала по течению, надеясь задобрить реку, умиловать Господа.

Лишь на шестые сутки бабушку, распутившуюся телом, почти волоком утащили домой. Она, словно пьяная, бредово что-то бормотала, руки и голова ее почти доставали землю, волосья на голове расплетались, висели над лицом, цеплялись за все и оставались ключьями на бурьяне. на жердях и на заплотах.

Бабушка упала среди избы на голый пол, раскинув руки, и так вот спала, не раздетая, в скоробленных опорках, словно плыла куда-то, не издавая ни шороха, ни звука, и доплыть не могла. В доме говорили шепотом, ходили ца цыпочках, боязно наклонялись над бабушкой, думая, что она умерла. Но из глубины бабушкиного нутра, через стиснутые зубы шел непрерывный стон, словно бы придавило что-то или кого-то там, в бабушке, и оно мучилось от неотпускающей, жгучей боли.

Очнулась бабушка ото сна сразу, огляделась, будто после обморока, и стала подбирать волосы, сплетать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах. Деловито и просто не сказала, а выдохнула она из себя: «Нет, не дозваться мне Лиденьку, не дозваться. Не отдает ее река. Ближе где-то, совсем близко держит, но не отдает и не показывает...»

А мама и была близко. Ее затащило под сплавную бону против избы Вассы Вахрамеевны, она зацепилась косой за перевязь бон и моталась, моталась там до тех пор, пока не отопрели волосы и не оторвало косу. Так они и мучились: мама в воде, бабушка на берегу, мучились страшной мукой неизвестно за чьи тяжкие грехи...

Бабушка узнала и рассказала мне, когда я подрос, что в маленькую долбленную лодку набилось восемь человек отчаянных овсянских баб и один мужик на корме — наш Кольча-младший. Бабы все с торгом, в основном с ягодой — земляникой, и, когда лодка опрокинулась, по воде, ширясь, понеслась красная яркая полоса, и сплавщики с катера, спасавшие людей, закричали: «Кровь! Кровь! Разбило о бону кого-то...» Но по реке плыла земляника. У мамы тоже была кринка земляники, и алой струйкой слилась она с красной полосой. Может, и мамина кровь от удара головой о бону была там, текла и вилась вместе с земляникой по воде, да кто ж узнает, кто отличит в панике, в суе и криках красное от красного?

Проснулся я от солнечного луча, просочившегося в мутное окошко кладовки и ткнувшего мне в глаза. В луче мошкой мельтешила пыль. Откуда-то наносило заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло: на меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота! На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала:

— ...Культурная дамочка, в шляпке. «Я эти вот ягодки все куплю». Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал...

Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбираться, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся.

— Своих вечно потачил! — гремела бабушка. — Теперь этого! А он уж мошенничат! Че потом из него будет? Жиган будет! Вечный арестант! Я вот еще левонтьевских, пятнай их, в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Убрался дед во двор, от греха подальше, чего-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может, ей надо кому-то рассказывать о происшествии либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня, и она тихонько прошла по сеним, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел крепко-накрепко сомкнуть глаза.

— Не спишь ведь, не спишь! Все-о вижу!

Но я не сдавался. Забежала в дом тетка Авдотья, спросила, как «тета» сплавала в город. Бабушка сказала, что «сплавала, слава Тебе, Господи, ягоденки продала сходно», и тут же принялась повествовать:

— Мой-то! Малой-то! Чего утворил!.. Послушай-ко, послушай-ко, девка!

В это утро к нам приходило много людей, и всех бабушка задерживала, чтоб поведать: «А мой-то! Малой-то!» И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела — она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала половики, делала разные свои дела и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напомнить:

— Не спишь ведь, не спишь! Я все-о вижу!

Но я твердо верил: управится по дому и уйдет. Не вытерпит, чтобы не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе. И каждому встречному и поперечному бабушка с большой охотой будет твердить: «А мой-то! Малой-то!»

В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул:

«Ничего, дескать, терпи и не робей!», да еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом и так долго копившиеся слезы ягодой, крупной земляникой, пятнай ее, сыпанули из моих глаз, и не было им никакого удержу.

— Ну, што ты, што ты? — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. — Чего голодной-то лежишь? Попроси прошшенья... Ступай, ступай, — легонько подтолкнул меня дед в спину.

Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел:

— Я больше... Я больше... Я больше... — и ничего не мог дальше сказать.

— Ладно уж, умывайся да садись трескать! — все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка. Я покорно умылся, долго возил по лицу сырым рукотерником и вспомнил, что ленивые люди, по заверению бабушки, всегда сырым

утираются, потому что всех позднее встают. Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах ты Господи! Да чтобы я еще хоть раз сплутовал! Да я...

Содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку старую, совсем, понимал я, ненужную ему веревку, чего-то доставал с полатей, вынул из-под курятника топор, попробовал пальцем острие. Он ищет и находит заделье, чтоб только не оставлять горемычного внука один на один с «генералом» — так он в сердцах или в насмешку называет бабушку. Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху и стал есть ее всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молоко, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась:

— Брюхо болит, на краюху глядит! Эшь ведь какой смирененькай! Эшь ведь какой тихонькай! И молочка не попросит!..

Дед мне подморгнул — терпи. Я и без него знал: Боже упаси сейчас перечить бабушке, сделать чего не по ее усмотрению. Она должна разрядиться и должна высказать все, что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна. И срамила же меня бабушка! И обличала же! Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую «кривую дорожку» оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уж заревел, не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету...

Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаянья. Ушел. Ушел, скрылся, задымив сигаркой, дескать, мне тут ни помочь, ни совладать, Бог пособляй тебе, внучек...

Бабушка устала, выдохлась, а может, и почувяла, что уж того она, лишковато все ж меня громила.

Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой.

— Бери, бери, че смотришь? Глядишь, зато еще когда омманешь баушку...

Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой.

# Фотография, на которой меня нет

Глухой зимою, во времена тихие, сонные нашу школу взбудоражило неслыханно важное событие.

Из города на подводе приехал фотограф!

И не просто так приехал, по делу — приехал фотографировать.

И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы.

Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны.

Учитель и учительница — муж с женою — стали думать, где поместить фотографа на ночевку.

Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка-ревун. Бабушка моя, тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, три раза заговаривала пупок дитенку, но он все равно орал ночи напролет и, как утверждали сведущие люди, наревел пуп в луковицу величиной.

Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка, где висел пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спяну или просто так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона.

Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмешалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в куть и с напором, правда, конфузливый, взялась его убеждать:

— Им тама нельзя. Ямщиков набьется полна изба. Пить начнут, луку, капусты да картошек напрутся и ночью себя некультурно вести станут. — Тетка Авдотья посчитала все эти доводы неубедительными и прибавила: — Вшей напустют...

— Что же делать?

— Я чичас! Я мигом! — Тетка Авдотья накинула полушалок и выкатилась на улицу.

Фотограф был пристроен на ночь у десятника сплавконторы. Жил в нашем селе грамотный, деловой, всеми уважаемый человек Илья Иванович Чехов. Происходил он из ссыльных. Ссылными были не то его дед, не то отец. Сам он давно женился на нашей деревенской молодежи, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаве, лесозаготовках и выжиге извести. Фотографу, конечно же, в доме Чехова — самое подходящее место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят, и книжку почитать из шкафа достанут.

Вздыхнул облегченно учитель. Ученики вздохнули. Село вздохнуло — все переживали.



Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят как полагается, хорошо снимал.

Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу с Санькой пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние — в середине, плохие — назад — так было порешено. Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир прилежанием и поведением, нам и на середину рассчитывать было трудно. Быть нам сзади, где и не разберешь, кто заснят? Ты или не ты? Мы полезли в драку, чтоб боем доказать, что мы — люди пропащие... Но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, в погибель мчались, поразбивали о каменья головки санок, коленки поносили, вывалялись, начерпали полные катанки снегу.

Бабушка уж затемно сыскала нас с Санькой на увале, обоих настегала прутом. Ночью наступила расплата за отчаянный разгул у меня заболели ноги. Они всегда ныли от «рематизни», как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанки снегу — тотчас нудь в ногах переходила в невыносимую боль.

Я долго терпел, чтобы не завывать, очень долго. Раскидал одежонку, прижал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, к горячим кирпичам русской печи, потом растирал ладонями сухо, как лучина, хрустящие суставы, засовывал ноги в теплый рукав полушубка ничего не помогало.

И я завыл. Сначала тихонько, по-щенячьи, затем и в полный голос.

— Так я и знала! Так я и знала! — проснулась и заворчала бабушка. — Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и в печенки, не говорила: «Не студися, не студися!» — повысила она голос. — Так он ведь умнее всех! Он бабушку послушат? Он добрым словам воньмет? Загибат теперь! Загибат, худа немочь! Мольчи лучше! Мольчи! — Бабушка поднялась с кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее умирительно. — И меня загибат...

Она зажгла лампу, унесла ее с собой в куть и там зазвенела посудой, флакончиками, баночками, скляночками — ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему.

— Где ты тутока?

— Зде-е-е-ся. — по возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться.

— Зде-е-е-ся! — передразнила бабушка и, нашарив меня в темноте, перво-наперво дала затрещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала основательно, досуха, и все шумела: — Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала: — Эк его умучило! Эк его крюком скрючило? Посинел, будто на леде, а не на пече сидел...

Я уж ни гугу, не огрызался, не перечил бабушке — лечит она меня.

Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица шипучей от спирта ладонью.

— Спи, пташка малая, Господь с тобой и ангелы во изголовье.

Заодно бабушка свою поясницу и свои руки-ноги натерла вонючим спиртом, опустилась на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву Пресвятой Богородице, охраняющей сон, покой и благоденствие в доме. На половине молитвы она прервалась, вслушивается, как я засыпаю, и где-то уже сквозь склеивающийся слух слышно:

— И чего к робенку привязалась? Обутки у него починеты, догляд людской...

Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная оттого, что мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал на весь дом. Бабушка уж не колотила меня, а перепробовавши все свои лекарства, заплакала и напустилась на деда:

— Дрыхнешь, старый одер!.. А тут хоть пропади!

— Да не сплю я, не сплю. Че делать-то?

— Баню затопляй!

— Середь ночи?

— Середь ночи. Экой барин! Робенок-то! — Бабушка закрылась руками: — Да откуль напасть такая, да за что же она сиротиночку ломат, как тонку тали-и-инку... Ты долго кряхтеть будешь, толстодум? Чо ишшэш? Вчерашний день ишшэш? Вон твои рукавицы. Вон твоя шапка!..

Утром бабушка унесла меня в баню — сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоящей на борце, чтоб внутренность прогреть, и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченным с маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был, меня сшибло с ног, и я проспал до полудня.

Разбудился от голосов. Санька препирался или ругался с бабушкой в кути.

— Не может он, не может... Я те русским языком толкую! — говорила бабушка. — Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, упочинила все, худо, бедно ли, изладила. А он слег...

— Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. Меня учитель послал. Бабушка Катерина!.. — настаивал Санька.

— Не может, говорю... Постой-ко, это ведь ты, жиган, сманил его на увал-то! — осенило бабушку. — Сманил, а теперича?..

— Бабушка Катерина...

Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут.

— Все равно пойду! — кричал я на бабушку. — Давай рубаху! Штаны давай! Все равно пойду!

— Да куда пойдешь-то? С печки на полати, — покачала головой бабушка и незаметно сделала рукой отмашку, чтоб Санька убирался.

— Санька, стой! Не уходи-и-и! — завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала:

— Ну, куда пойдешь-то? Куда?

— Пойду-у-у! Давай рубаху! Шапку давай!..

Вид мой поверг и Саньку в удручение. Он помялся, помялся, потоптался, потоптался и скинул с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования.

— Ладно! — решительно сказал Санька. — Ладно! — еще решительней повторил он. — Раз так, я тоже не пойду! Все! — И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в среднюю. — Не последний день на свете живем! — солидно заявил Санька. И мне почудилось: не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. — Еще наснимаем! Ништя-а-ак! Поедем в город и на коне, может, и на ахтомобиле заснимем. Правда, бабушка Катерина? — закинул Санька удочку.

— Правда, Санька, правда. Я сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город, и к Волкову, к Волкову. Знаешь Волкова-то?

Санька Волкова не знал. И я тоже не знал.

— Самолучший это в городе фотограф! Он хоть на портрет, хоть на пачпорт, хоть на коне, хоть на ероплане, хоть на чем заснимет!

— А школа? Школу он заснимет?

— Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной. К полу привинченный, — приуныла бабушка.

— Вот! А ты...

— Чего я? Чего я? Зато Волков в рамку сразу вставит.

— В ра-амку! Зачем мне твоя рамка?! Я без рамки хочу!

— Без рамки! Хочешь? Дак на! На! Отваливай! Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся! — Бабушка покидала в меня одежонку: рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки — все покидала. — Ступай, ступай! Баушка худа тебе хочет! Баушка

— враг тебе! Она коло него, аспида, вьюном вьется, а он, видали, какие благодарствия баушке!..

Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят?

В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенья, брусницы, настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке, глядел на улицу, куда мне ходу пока не было, от безделья принимался плевать на стекла, и бабушка стращала меня, мол, зубы заболят. Но ничего зубам не сделалось, а вот ноги, плюй не плюй, все болят, все болят. Деревенское окно, заделанное на зиму, — своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и каков обиход в избе.

Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам валиком клала вату и на белое сверху кидала три-четыре розетки рябины с листиками — и все. Никаких излишеств. В средней же и в кути бабушка меж рам накладывала мох попеременно с брусничником. На мох несколько березовых углей, меж углей ворохом рябину — и уже без листьев.

Бабушка объяснила причуду эту так:

— Мох сырость засасывает. Уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, с кути чад.

Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя, у писателя Александра Яшина, прочел о том же: рябина от угара — первое средство. Народные приметы не знают границ и расстояний.

Бабушкины окна и соседские окна изучил я буквально досконально, по выражению предсельсовета Митрохи.

У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах не все целы — где фанерка прибита, где тряпками заткнуто, в одной створке красным пузом выперла подушка. В доме наискосок, у тетки Авдотьи, меж рам навалено всего: и ваты, и моху, и рябины, и калины, но главное там украшение цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла, безногая собака-копилка, развешаны побрякушки без ручек и конь стоит без хвоста и гривы, с расковыренными ноздрями. Все эти городские подарки привозил деткам муж Авдотьи, Терентий, который где ныне находится — она и знать не знает. Года два и даже три может не появляться Терентий. Потом его словно коробейники из мешка вытряхнут, нарядного, пьяного, с гостинцами и подарками. Пойдет тогда шумная жизнь в доме тетки Авдотьи. Сама тетка Авдотья, вся жизнью издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом — и легкомыслие, и доброта, и бабья сварливость.

Дальше тетки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них — не знаю. Раньше не обращал внимания — некогда было, теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю.

Какая тоска!

Оторвал листок у мятного цветка, помял в руках — воняет цветок, будто нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает, пьет с вареным молоком. Еще на окне алой остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза, но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли — корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы. Люблю я смотреть на оживающие цветы. Все почти горшки с цветами — геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами — находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки.

Но как только на калине под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подполья старый чугунок с дыркой на дне и поставит его на теплое окно в кути.

Через три-четыре дня из темной нежилой земли проткнутся бледно-зеленые острые побеги — и пойдут, пойдут они торопливо вверх, на ходу накапливая в себе темную зелень, разворачиваясь в длинные листья, и однажды возникает в пазухе этих листьев круглая палка, проворно двинется та зеленая палка в рост, опережая листья, породившие ее, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо.

Я всегда караулил то мгновение, тот миг свершающегося таинства — расцветания, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, скрыто от людского урочливого глаза, зацветала луковка.

Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, а бабушкин голос остановит:

— Гляди-ко, живунчик какой у нас народился!

На окне, в старом чугунке, возле замерзшего стекла над черной землей висел и улыбался яркогубый цветок с бело мерцающей сердцевинкой и как бы говорил младенчески-радостным ртом: «Ну вот и я! Дождались?»

К красному граммофончику осторожная тянулась рука, чтоб дотронуться до цветка, чтоб поверить в недалекую теперь весну, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника тепла, солнца, зеленой земли.

После того как загоралась на окне луковица, заметней прибывал день, плавилась толсто обмерзшие окна, бабушка доставала из подполья остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица меж тем, указав путь весне и цветению, сворачивала граммофончики, съезживалась, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подернутыми хромовым блеском ремнями стеблей, забытая всеми, снисходительно и терпеливо дожидалась весны, чтоб вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето.

Во дворе залился Шарик.

Бабушка перестала починяться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась, побежала в куть.

— Какой это там лешак ломится?.. Милости просим! Милости просим! — совсем другим, церковным голоском запела бабушка. Я понял: к нам нагрянул важный гость, поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в куты учительской одежде висеть неприлично, пригласила учителя проходить.

Я притаился на печи. Учитель прошел в среднюю, еще раз поздоровался и справился обо мне.

— Поправляется, поправляется, — ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтоб не поддеть меня: — На еду уж здоров, вот на работу хил покуда. Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтоб я слезал с печки.

Боязливо и нехотя я спустился с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня. Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, каленными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа под «политику» — волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком.

— Я принес тебе фотографию, — сказал учитель и поискал глазами портфель.

Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть — портфель остался там. И вот она, фотография — на столе.

Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе! И лица величиной с подсолнечные семечки, но узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии: вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня... В гуще ребят, в самой середке — учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное. Им что? У них ноги не болят.

Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще и еще перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня «худя немочь».

— Ничего, ничего! — успокоил меня учитель. — Фотограф, может быть, еще приедет.

— А я что ему толкую? Я то же и толкую...

Я отвернулся, моргая на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в среднюю, губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет. И не будет!

Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами.

— Как парнишечка? Грызть-то не унялася?

— Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Последние ночи спокойней.

— И слава Богу. И слава Богу. Они, робятишки, пока вырастут, ой сколько натерпишься с имя! Вон у меня их сколько, субчиков-то было, а ниче, выросли. И ваш вырастет...

Самовар запел в кути протяжную тонкую песню. Разговор шел о том о сем. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил, поинтересовался насчет деда.

— Сам-от? Сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Каки наши достатки? Огородом, коровенкой да дровами живем.

— Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?

— Какой жа?

— Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров. Сухих, швырковых. И не могу дознаться, кто их свалил.

— А чего дознаваться-то? Нечего и дознаваться. Топите — и все дела.

— Да как-то неудобно.

— Чего неудобного. Дров-то нету? Нету. Ждать, когда препообный Митроха распорядится? А и привезут сельсоветские сырье сырьем, тоже радости мало. Бабушка, конечно, знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает.

Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться на кого угодно: на сельсовет, на разбойника мужа, на свекровку. Дядя Левонтий — лиходей из лиходеев, когда пьяный, всю посуду прибьет, Васене фонарь привесит, робятишек поразгонит. А как побеседовал с ним учитель — исправился дядя Левонтий. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал:

— Ну чисто рукой дурь снял! И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, вы... Да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!

Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока либо сметанки, творогу, брусники туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо, учительницу необидно отругают за неумелость в обиходе с дитем. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать. Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катанках. Умыкнули бабы катанки — и к сапожнику Жеребцову снесли. Шкалик поставили, чтоб с учителя, ни Боже мой, копейки не взял Жеребцов и чтоб к утру, к школе все было готово. Сапожник Жеребцов человек пьющий, ненадежный.

Жена его, Тома, спрятала шкалик и не отдавала до тех пор, пока катанки не были подшиты.

Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев; на свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить.

А в какой школе начали работу наши учителя!

В деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, затем он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины.

Кстати говоря, дом, приспособленный под школу, был рублен моим прадедом, Яковом Максимовичем, и начинал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось. Но из бани-то меня принесли в узелке сюда, в этот дом. Как и что в нем было — не помню. Помню лишь отголоски той жизни: дым, шум, многолюдье и руки, руки, поднимающие и подбрасывающие меня к потолку. Ружье на стене, как будто к ковру прибитое. Оно внушало почтительный страх. Белая тряпка на лице деда Павла. Осколок малахитового камня, сверкающего на изломе, будто весенняя льдина. Возле зеркала фарфоровая пудреница, бритва в коробочке, папин флакон с одеколоном, мамина гребенка. Санки помню, подаренные старшим братом бабушки Марьи, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилась ей свекровью. Замечательные, круто выгнутые санки с отводинами — полное подобие настоящих конских саней. На тех санках мне не разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься, и кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед или кто посвободней, садили меня в санки и волочили по полу сенок или по двору.

Папа мой отселился в зимовье, крытое занозистой, неровной дранью, отчего крыша при больших дождях протекала. Знаю по рассказам бабушки и, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семьи свекра и обретению хозяйственной самостоятельности, пусть и в тесном, но в «своем углу». Она все зимовье прибрала, перемыла, бесцельно белила и подбеливала печку. Папа грозился сделать в зимовье перегородку и вместо козырька-навеса сотворить настоящие сенки, но так и не исполнил своего намерения.

Когда выселили из дома деда Павла с семьей — не знаю, но как выселяли других, точнее, выгоняли семьи на улицу из собственных домов — помню я, помнят все старые люди.

Раскулаченных и подкулачников выкинули вон глухой осенью, стало быть, в самую подходящую для гибели пору. И будь тогдашние времена похожими на нынешние, все семьи тут же и примерли бы. Но родство и землячество тогда большой силой были, родственники дальние, близкие, соседи, кумовья и сватовья, страшась угроз и наветов, все же подобрали детей, в первую голову грудных, затем из бань, стоек, амбаров и чердаков собрали матерей, беременных женщин, стариков, больных людей, за ними «незаметно» и всех остальных разобрали по домам.



Днем «бывшие» обретались по тем же баням и пристройкам, на ночь проникали в избы, спали на разбросанных пополах, на половиках, под шубами, старыми одеялишками и на всякой бросовой рямнине. Спали вповалку, не раздеваясь, все время готовые на вызов и выселение.

Прошел месяц, другой. Пришла глухая зима, «ликвидаторы», радуясь классовой победе, гуляли, веселились и как будто забыли об обездоленных людях. Тем надо было жить, мыться, рожать, лечиться, кормиться. Они прилепились к пригревшим их семьям либо прорубили окна в стайках, утеплили и отремонтировали давно заброшенные зимовья или времянки, срубленные для летней кухни.

Картошка, овощ, соленая капуста, огурцы, бочки с грибами оставались в подвалах покинутых подворий. Их нещадно и безнаказанно зорили лихие людишки, шпана разная, не ценящая чужого добра и труда, оставляя открытыми крышки погребов и подвалов. Выселенные женщины, ночной порой ходившие в погреба, причитали о погибшем добре, молили Бога о спасении одних и наказании других. Но в те годы Бог был занят чем-то другим, более важным, и от русской деревни отвернулся. Часть кулацких пустующих домов — нижний конец села весь почти пустовал, тогда как верхний жил справнее, но «задали, запоили» верховские активистов — шел шепот по деревне, а я думаю, что активистам-ликвидаторам просто ловчее было зорить тех, кто поближе, чтоб далеко не ходить, верхний конец села держать «в резерве». Словом, живучий элемент начал занимать свои пустующие избы или жилье пролетарьев и активистов, переселившихся и покинутые дома, занимали и быстро приводили их в божеский вид. Крытые как попало и чем попало низовские окраинные избушки преобразились, ожили, засверкали чистыми окнами.

Многие дома в нашем селе строены на две половины, и не всегда во второй половине жили родственники, случалось, просто союзники по паю. Неделю, месяц, другой они могли еще терпеть многолюдство, тесноту, но потом начинались раздоры, чаще всего возле печи, меж бабами-стряпухами. Случалось, семья выселенцев снова оказывалась на улице, искала приюту. Однако большинство семейств все же ужились между собой. Бабы посылали парнишек в свои заброшенные дома за припрятанным скарбом, за овощью в подвал. Сами хозяйки иной раз проникали домой. За столом сидели, спали на кровати, на давно не беленной печи, управлялись по дому, крушили мебелишку новожители.

«Здравствуйте», — остановившись возле порога, еле слышно произносила бывшая хозяйка дома. Чаще всего ей не отвечали, кто от занятости и хамства, кто от презрения и классовой ненависти.

У Болтухиных, сменивших и загадивших уже несколько домов, насмехались, ерничали: «Проходите, хватайте, чего забыли?..» «Да вот сковороду бы взять, чигунку, клюку, ухват — варить...» «Дак че? Бери, как свое...» — Баба вызволяла инвентарь, норовя, помимо названного, прихватить и еще чего-нибудь: половичишки, одежонку какую-никакую, припрятанный в ей лишь известном месте кусок полотна или холста.

Заселившие «справный» дом новожители, прежде всего бабы, стыдясь вторжения в чужой угол, опустив долу очи, пережидали, когда уйдет «сама». Болтухины же следили за «контрой», за недавними своими собутыльниками, подругами и благодетелями — не вынесет ли откудова золотишко «бывшая», не потянут ли из захоронки ценную вещь: шубу, валенки, платок. Как уличат пойманного злоумышленника, сразу в крик: «А-а,

воруешь? В тюрьму захотела?..» — «Да как же ворую... это же мое, наше...» — «Было ваше, стало наше! Поволоку вот в сельсовет...»

Попускались добром горемыки. «Подавитесь!» — говорили. Катька Болтухина металась по селу, меняла отнятую вещь на выпивку, никого не боясь, ничего не стесняясь. Случалось, тут же предлагала отнятое самой хозяйке. Бабушка моя, Катерина Петровна, все деньжонки, скопленные на черный день, убухала, не одну вещь «выкупила» у Болтухиных и вернула в описанные семьи.

К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, истрепаны половики, сожжена мебель. За зиму часть села выгорела. Молодняк иногда протапливал печи в домнинской или какой другой просторной избе и устраивал там вечерки. Не глядя на классовые расслоения, парни шупали по углам девок. Ребятишки как играли, так и продолжали играть вместе. Плотники, бондари, столяры и сапожники из раскулаченных потихоньку прилаживались к делу, смекали заработать на кусок хлеба. Но и работали, и жили в своих, чужих ли домах, пугливо озираясь, ничего капитально не ремонтируя, прочно, надолго не налаживая, жили, как в ночевальной заезжей избе. Этим семьям предстояло вторичное выселение, еще более тягостное, при котором произошла единственная за время раскулачивания трагедия в нашем селе.

Немой Кирила, когда первый раз Платоновских выбрасывали на улицу, был на заимке, и ему как-то сумели втолковать после, что изгнание из избы произошло вынужденное, временное. Однако Кирила насторожился и, живя скрытником на заимке со спрятанным конем, не угнанным со двора в колхоз по причине дутого брюха и хромой ноги, нет-нет и наведывался в деревню верхом.

Кто-то из колхозников или мимоезжих людей и сказал на заимке Кириле, что дома у них неладно, что снова Платоновских выселяют. Кирила примчался к распахнутым воротам в тот момент, когда уже вся семья стояла покорно во дворе, окружив выкинутое барахлишко. Любопытные толпились в проулке, наблюдая, как самое Платошиху нездешние люди с наганами пытаются тащить из избы. Платошиха хваталась за двери, за косяки, кричала зарезанно. Вроде уж совсем ее вытащат, но только отпустят, она сорванными, кровящими ногтями вновь находит, за что уцепиться.

Хозяин, чернявый по природе, от горя сделавшийся совсем черным, увещевал жену:

«Да будет тебе, Парасковья! Чего уж теперь? Пойдем к добрым людям...»

Ребятишки, их много было во дворе Платоновских, уже и тележку, давно приготовленную, загрузили, вещи, кои дозволено было взять, сложили, в оглобли тележки впряглись. «Пойдем, мама. Пойдем...» — умоляли они Платошиху, утираясь рукавами.

Ликвидаторам удалось-таки оторвать от косяка Платошиху. Они столкнули ее с крыльца, но, полежав со скомканно задравшимся подолом на настиле, она снова поползла по двору, воя и протягивая руки к распахнутой двери. И снова оказалась на крыльце. Тогда городской уполномоченный с наганом на боку пхнул женщину подошвой сапога в лицо. Платошиха опрокинулась с крыльца, зашарила руками по настилу, что-то отыскивая. «Парасковья! Парасковья! Что ты? Что ты?..» Тут и раздался утробный бычий крик: «М-м-маууу!..» Кирила выхватил из чурки ржавый колун, метнулся к уполномоченному. Знавший только угрюмую рабскую покорность, к сопротивлению не готовый, уполномоченный не успел даже и о кобуре вспомнить. Кирила всмятку разнес его голову, мозги и кровь выплеснулись на крыльцо, обрызгали стену. Дети закрылись

руками, бабы завопили, народ начал разбегаться в разные стороны. Через забор хватанул второй уполномоченный, стриганули со двора понятия и активисты. Разъяренный Кирила бегал по селу с колуном, зарубил свинью, попавшуюся на пути, напал на сплавщицкий катер и чуть не порешил матроса, нашего же, деревенского.

На катере Кирилу окатили водой из ведра, связали и выдали властям.

Гибель уполномоченного и бесчинство Кирилы ускорили выселение раскулаченных семей. Платоновских на катере уплавили в город, и никто, никогда, ничего о них больше не слышал.

Прадед был выслан в Игарку и умер там в первую же зиму, а о деде Павле речь впереди.

Перегородки в родной моей избе разобрали, сделав большой общий класс, потому я почти ничего не узнавал и заодно с ребятами что-то в доме дорубал, доламывал и сокрушал.

Дом этот и угодил на фотографию, где меня нет. Дома тоже давным-давно на свете нет.

После школы было в нем правление колхоза. Когда колхоз развалился, жили в нем Болтухины, опиливая и дожигая сени, терраску. Потом дом долго пустовал, дряхлел и, наконец пришло указание разобрать заброшенное жилище, сплавить к Гремячей речке, откуда его перевезут в Емельяново и поставят. Быстро разобрали овсянские мужики наш дом, еще быстрее сплывили куда велено, ждали, ждали, когда приедут из Емельянова, и не дождались. Сговорившись потихоньку с береговыми жителями, сплавщики дом продали на дрова и денежки потихоньку пропили. Ни в Емельянове, ни в каком другом месте о доме никто так и не вспомнил.

Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек «Утильсырьё». Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра — старых самоваров, плугов, костей, тряпья.

В школе появились карандаши, тетради, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, женщины разжились иголками, нитками, пуговицами.

Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было — один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник. Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату.

Учитель вот фотографа сговорил к нам приехать, и тот заснял ребят и школу. Это ли не радость! Это ли не достижение!

Учитель пил с бабушкой чай. И я первый раз в жизни сидел за одним столом с учителем и изо всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюдца чай. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила-а-а-а... И варенье, и брусница, и

сушки, и лампасейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и доволен, что учитель пьет у нас чай, безо всяких церемоний разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким редким гостем за угощение не приходится.

Учитель выпил два стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извиняясь, по деревенской привычке, за бедное угощение, но учитель благодарил ее, говорил, что всем он премного доволен, и желал бабушке доброго здоровья. Когда учитель уходил из дома, я все же не удержался и любопытствовал насчет фотографа: «Скоро ли он опять приедет?»

— А, штабы тебя приподняло да шлепнуло! — бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя.

— Думаю, скоро, — ответил учитель. — Выздоровливай и приходи в школу, а то отстанешь. — Он поклонился дому, бабушке, она засеменила следом, провожая его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене, будто та была не через два посада от нас, а невесть в каких дальних краях.

Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи скорее в школу, — и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться, — вроде бы грустно и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе отчего-то щемливо, хотелось заплакать.

Бабушка, ахая, убирала со стола богатую снедь и не переставала удивляться:

— И не поел-то ничего. И чаю два стакана токо выпил. Вот какой культурный человек! Вот че грамота делает! — И увещевала меня; — Учись, Витька, хорошеньче! В учителя, может, выйдешь або в десятники...

Не шумела в этот день бабушка ни на кого, даже со мной и с Шариком толковала мирным голосом, а хвасталась, а хвасталась! Всем, кто заходил к нам, подряд хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал! Школьную фотокарточку показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась заключить со в рамку, которую она купит у китайцев на базаре.

Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стену повесила, но в город меня не везла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков.

К весне тетрадки, выменянные на утильсырье, исписались, краски искрасились, карандаши истрогались, и учитель стал водить нас но лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо.

Как он много знал! И что кольца у дерева — это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвоей лечатся от нервов, и что из березы делают фанеру; из хвойных пород — он так и сказал, — не из лесин, а из пород! — изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть, и жизнь речек.

Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал, и он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать листовничную серу, различать по голосам птичек, зверьков и,

если он заблудится в лесу, как выбраться оттуда, в особенности как спастись от лесного пожара, как выйти из страшного таежного огня.

Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на камень отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал:

— Ой, змея, змея!..

И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела.

Еще и подумать никто ничего не успел, как учитель оттолкнул нас, схватил палку и принялся, молотить по змее, по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки прострелов. Змея кипела ключом, подбрасывалась на хвосте.

— Не бейте через плечо! Не бейте через плечо! — кричали ребята, но учитель ничего не слышал. Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи в камнях и обернулся. Руки его дрожали. Ноздри и глаза его расширились, весь он был белый, «политика» его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах.

Мы отыскиали в камнях, отряхнули и подали ему кепку.

— Пойдемте, ребята, отсюда.

Мы посыпались с горы, учитель шел за нами следом, и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится. Под горою учитель забрел в речку — Малую Слизневку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил: — Почему кричали, чтоб не бить гадюку через плечо?

— Закинуть же на себя змею можно. Она, зараза, обовьется вокруг палки!.. — объясняли ребята учителю. — Да вы раньше-то хоть видели змей? — догадался кто-то спросить учителя.

— Нет, — виновато улыбнулся учитель. — Там, где я рос, никаких гадов не водится. Там нет таких гор, и тайги нет.

Вот тебе и на! Нам надо было учителя-то оборонять, а мы?!

Прошли годы, много, ох много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя — с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем-отчеством, но и лицом они походили друг на друга. «Чисто брат с сестрой!..» Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться

частицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька.

Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя — сибиряк.

Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. школа 1-й ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит.

Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были. Пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах — всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше «сняться» на карточку; пусть мои тетки и дядя красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза; пусть казак, точнее, мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом; пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми напоказ из-под рукава, и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращатся с фотографий.

Я все равно не смеюсь.

Деревенская фотография — своеобразная летопись нашего народа, настенная его история, а еще не смешно и оттого, что фото сделано на фоне родового, разоренного гнезда.

# Людочка

*Ты камнем упала.*

*Я умер под ним.*

**Вл. Соколов**

Мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история, лет уже пятнадцать назад.

Я никогда не видел ее, ту девушку. И уже не увижу. Я даже имени ее не знаю, но почему-то втемяшилось в голову — звали ее Людочкой. «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный...» И зачем я помню это? За пятнадцать лет произошло столько событий, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло...

Зачем же история эта, тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце? Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте?

Людочка родилась в небольшой угасающей деревеньке под названием Вычуган. Мать ее была колхозницей, отец — колхозником. Отец от ранней угнетающей работы и давнего, закоренелого пьянства был хилогруд, тщедушен, суетлив и туповат. Мать боялась, чтоб дитя ее не родилось дураком, постаралась зачать его в редкий от мужних пьянок перерыв, но все же девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенькой, болезной и плаксивой.

Она росла, как вялая, придорожная трава, мало играла, редко пела и улыбалась, в школе не выходила из троечниц, но была молчаливо-старательная и до сплошных двоек не опускалась.

Отец Людочки исчез из жизни давно и незаметно. Мать и дочь без него жили свободнее, лучше и бодрее. У матери бывали мужики, иногда пили, пели за столом, оставались ночевать, и один тракторист из соседнего леспромхоза, вспахав огород, крепко отобедав, задержался на всю весну, врос в хозяйство, начал его отлаживать, укреплять и умножать. На работу он ездил за семь верст на мотоцикле, сначала возил с собой ружье и часто выбрасывал из рюкзака на пол скомканных, роняющих перо птиц, иногда за желтые лапы вынимал зайца и, распялив его на гвоздях, ловко обдирал. Долго потом висела над печкой вывернутая наружу шкурка в белой оторочке и в красных, звездно рассыпавшихся на ней пятнах, так долго, что начинала ломаться, и тогда со шкурок состригали шерсть, пряли вместе с льняной ниткой, вязали мохнатые шалюшки.

Постоялец никак не относился к Людочке, ни хорошо, ни плохо, не ругал ее, не обижал, куском не корил, но она все равно побаивалась его. Жил он, жила она в одном доме — и только. Когда Людочка домаяла десять классов в школе и сделалась девушкой, мать сказала, чтоб она ехала в город — устраиваться, так как в деревне ей делать нечего, они с самим — мать упорно не называла постояльца хозяином и отцом — налаживаются переезжать в леспромхоз. На первых порах мать пообещала помогать Людочке деньгами, картошкой и чем Бог пошлет, — на старости лет, глядишь, и она им поможет.

Людочка приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя в городской вид: сделала завивку, маникюр. Она хотела еще и волосы

покрасить, но старая парикмахерша, сама крашенная под медный самовар, отсоветовала: мол, волосенки у тебя «мя-а-ах-канькия, пушистенкия, головенка, будто одуванчик, — от химии же волосья ломаться, сыпаться станут». Людочка с облегчением согласилась — ей не столько уж и краситься хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской, в этом теплом, одеколонными ароматами исходящем помещении.

Тихая, вроде бы по-деревенски скованная, но по-крестьянски сноровистая, она предложила подмести волосья на полу, кому-то мыло развела, кому-то салфетку подала и к вечеру вызнала все здешние порядки, подкараулила у выхода в парикмахерскую тетеньку под названием Гавриловна, которая отсоветовала ей краситься, и попросилась к ней в ученицы.

Старая женщина внимательно посмотрела на Людочку, потом изучила ее необременительные документы, порасспрашивала маленько, потом пошла с нею в горкоммунхоз, где и оформила Людочку на работу учеником парикмахера.

Гавриловна и жить ученицу взяла к себе, поставив нехитрые условия: помогать по дому, дольше одиннадцати не гулять, парней в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее как мать родную. Вместо платы за квартиру пусть с леспромхоза привезут машину дров.

— Покуль ты ученицей будешь — живи, но как мастером станешь, в общежитку ступай. Бог даст, и жизнь устроишь. — И, тяжело помолчав, Гавриловна добавила: — Если обрюхатеешь, с места сгоню. Я детей не имела, пискунов не люблю, кроме того, как и все старые мастера, ногами маюсь. В распогодицу ночами вою.

Надо заметить, что Гавриловна сделала исключение из правил. С некоторых пор она неохотно пускала квартирантов вообще, девицам же и вовсе отказывала.

Жили у нее, давно еще, при хрущевщине, две студентки из финансового техникума. В брючках, крашенные, курящие. Насчет курева и всего прочего Гавриловна напрямки, без обиняков строгое указание дала. Девицы покривили губы, но смирились с требованиями быта: курили на улице, домой приходили вовремя, музыку свою громко не играли, однако пол не мели и не мыли, посуду за собой не убирали, в уборной не чистили. Это бы ничего. Но они постоянно воспитывали Гавриловну, на примеры выдающихся людей ссылались, говорили, что она неправильно живет.

И это бы все ничего. Но девчонки не очень различали свое и чужое, то пирожки с тарелки подьедят, то сахар из сахарницы вычерпают, то мыло измылят, квартплату, пока десять раз не напомнишь, платить не торопятся. И это можно было бы стерпеть. Но стали они в огороде хозяйничать, не в смысле полоть и поливать, — стали срывать чего поспело, без спросу пользоваться дарами природы. Однажды съели с солью три первых огурца с крутой навозной гряды. Огурчики те, первые, Гавриловна, как всегда, пасла, холила, опустившись на колени перед грядой, навоз на которую зимой натаскала в рюкзак с конного двора, поставив за него чекенчик давнему разбойнику, хромоногому Слюсаренко, разговаривала с ними, с огурчиками-то: «Ну, растите, растите, набирайтесь духу, детушки! Потом мы вас в окро-о-ошечку-у, в окро-ошечку-у-у» — а сама им водички, тепленькой, под солнцем в бочке нагретой.

— Вы зачем огурцы съели? — приступила к девкам Гавриловна.



— А что тут такого? Съели и съели. Жалко, что ли? Мы вам на базаре во-о-о какой купим!

— Не надо мне во-о-о какой! Это вам надо во-о-о какой!.. Для утехи. А я берегла огурчики...

— Для себя? Эгоистка вы!

— Кто-кто?

— Эгоистка!

— Ну, а вы б...! — оскорбленная незнакомым словом, сделала последнее заключение Гавриловна и с квартиры девиц помела.

С тех пор она пускала в дом на житье только парней, чаще всего студентов, и быстро приводила их в Божий вид, обучала управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать. Двоих наиболее толковых парней из политехнического института даже стряпать и с русской печью управляться научила. Гавриловна Людочку пустила к себе оттого, что угадала в ней деревенскую родню, не испорченную еще городом, да и тяготиться стала одиночеством, свалится — воды подать некому, а что строгое упреждение дала, не отходя от кассы, так как же иначе? Их, нонешнюю молодежь, только распусти, дай им слабинку, сразу охомутают и поедут на тебе, куда им захочется.

Людочка была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато, цирюльное дело, казавшееся таким простым, давалось ей с трудом, и, когда минул назначенный срок обучения, она не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась в штате, продолжала практику — стригла машинкой наголо допризывников, карнала электроножницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик надо лбом. Фасонные же стрижки училась делать «на дому», подстригала под раскольников страшных модников из поселка Вэпэвэрзэ, где стоял дом Гавриловны. Сооружала прически на головах вертлявых дискотечных девочек, как у заграничных хит-звезд, не беря за это никакой платы.

Гавриловна, почуяв слабинку в характере постоялицы, сбывла на девочку все домашние дела, весь хозяйственный обиход. Ноги у старой женщины болели все сильнее, выступали жилы па икрах, комковатые, черные. У Людочки щипало глаза, когда она втирала мазь в искореженные ноги хозяйки, дорабатывающей последний год до пенсии. Мази те Гавриловна именовала «бонбенгом», еще «мамзином». Запах от них был такой лютый, крики Гавриловны такие душераздирающие, что тараканы разбежались по соседям, мухи померли все до единой.

— Во-о-от она, наша работушка, а, во-от она, красотуля-то человечья, как достаетца! — поуспокоившись, высказывалась в темноте Гавриловна. — Гляди, радуйся, хоть и бестолкова, но все одно каким-никаким мастером сделаешься... Чё тебя из деревни-то погнало?

Людочка терпела все: и насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую неприютность, и одиночество свое, и нравность Гавриловны, которая, впрочем, зла не держала, с квартиры не прогоняла, хотя отчим и не привез обещанную машину дров. Более того, за терпение, старание, за помощь по дому, за пользование в болести Гавриловна обещала сделать Людочке постоянную прописку, записать на нее

дом, коли она и дальше будет так же скромно себя вести, обихаживать избу, двор, гнуть спину в огороде и доглядит ее, старуху, когда она обезножует совсем.

С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае, далее шла через погибающий парк Вэпэвэрзэ, по-человечески — парк вагонно-паровозного депо, насаженный в тридцатых годах и погубленный в пятидесятых. Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали. И проложили, но, как у нас водится, закопать трубу забыли.

Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянуло мыльной слизью, тиной и по верху потекла горячая речка, кружа радужно-ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые, с лопнувшей корой, с рогатыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мостик из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали.

Когда перестали ходить паровозы и здание депо заняли новые машины — тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать, но по канаве все равно текло какое-то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной воды. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье: бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородинник, не рожавший ягод, и всюду — развесистая полынь, жизнерадостные лопух и колючки. Кое-где дурнину эту непролазную пробивало кривоствольными черемухами, две-три вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла, и, отпрянув сажен на десять, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло — елки срубались к Новому году догадливыми жителями поселка Вэпэвэрзэ, сосенки ощипывались козами и всяким разным блудливым скотом, просто так, от скуки, обламывались мимо гулявшими рукосуями до такой степени, что оставались у них одна-две лапы, до которых не дотянуться. Парк с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь захлестнутый всходами сорных тополей, выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут, в парке, стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят,дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Потому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок, ор вороний оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак.

Но человеку без природы существовать невозможно, животные возле человека обретающиеся, тоже без природы не могут, и коли ближней природой был парк Вэпэвэрзэ, им и любовались, на нем и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм: пузатые, плоские, длинные, короткие,

зеленые, белые, черные; прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток; горела на солнце и под луной фольга, трепыхалось рванье целлофана; иногда пронесло аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы, какую-нибудь диковину: испутившего резиновый дух крокодила Гену; красный круг из больницы; жалко слипшийся презерватив; остатки древней деревянной кровати и много-много всякого добра.

Как водится в настоящем уважающем себя городе, и в парке Вэпэвэрзэ и вокруг него по праздникам вывешивались лозунги, транспаранты и портреты на специально для этой цели сваренные и изогнутые трубы. Прежде было хорошо и привычно: портреты одни и те же, лозунги одни и те же; потом преобразования начались. Было: «Дело Ленина — Сталина живет и побеждает!» — стало: «Ленинизм живет и побеждает!» Было: «Партия — наш рулевой!» — стало: «Слава советскому народу, народу-победителю!» Результат местной идейной мысли тоже был: «Трудящиеся Советского Союза! Ваше будущее в ваших руках» «И в ногах!» — дописал кто-то из местных остряков. Железнодорожное депо всегда отличала повышенная бдительность, классовое чутье и гражданская принципиальность. Больше ни одной дописки на эстакаде — так важно тут именовалась железная конструкция — не появлялось.

Но когда с эстакады, с самого центра ее, было вынута сразу пять портретов и сзади них обнажился, явственней проступил лозунг: «Партия — ум, честь и совесть эпохи!» — примолкли даже железнодорожники.

В местной школе с давними, твердо стоящими на передовых позициях кадрами произошло шатание. Приехавшая по распределению из революционного города Ленинграда молоденькая учительница литературы кричала на собрании: «Какой очистительной морали можно ждать от города, когда в центре его, на воротах артиллерийского завода с сорок второго года горят трехметровые буквы: „Наша цель — коммунизм!“?»

Ну, такая учителька долго в поселке Вэпэвэрзэ не продержится, домой ее воротят или еще куда отвезут.

В таком поселке, в таком роскошном месте, как парк Вэпэвэрзэ, само собой, и «нечистые» велись, да все здешнего рода и производства, пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались, иногда насмерть, особенно с городской шпаной, которую не могло не тянуть в фартовое место. Имали они тут девок и однажды чуть было не поймали ту вольнодумную ленинградскую учительницу — убегла, физкультурница.

Среди вэпэвэрзэшников верховодом был Артемка-мыло, со вспененной белой головой, с узким рыльцем и кривыми, ходкими ногами. Людочка сколь ни пыталась усмирить лохмотья на буйной голове Артемки, названного отцом-паровозником в честь героического Артема из кинофильма «Мы из Кронштадта», ничего у нее не получалось. Артемкины кудри, издали напоминающие мыльную пену, изблизья оказались что липкие рожки из вокзальной столовой — сварили их, бросили скользким комком в пустую тарелку, так они, слипшиеся, неразъемно и лежали. Да и не затем приходил Артемка-мыло в дом Гавриловны, чтоб усмирить свою шевелюру. Он, как только Людочкины руки становились занятыми ножницами и расческой, начинал хватать ее за разные места. Людочка сначала дергалась, уклонялась от Артемкиных пальцев с огрызенными ногтями, потом стала бить по хватким рукам. Но клиент не унимался. И тогда Людочка стукнула вэпэвэрзэшного атамана стригущей машинкой, да так неловко, что из Артемкиной патлатой головы, будто из куриных перьев, выступила красная жидкость. Пришлось лить

йод из флакона на удалую башку ухажористого человека, он заулюлюкал, словно в штанах припекло, со свистом половил воздух пухлыми губами и с тех пор домогания свои хулиганские прекратил. Более того, атаман-мыло всей вэпэвэрзэшной шпане повелел Людочку не лапать и никому лапать не давать.

Людочка ничего и никого с тех пор в поселке не боялась, ходила от трамвайной остановки до дома Гавриловны через парк Вэпэвэрзэ в любой час, в любое время года, своей улыбкой отвечая на приветствия, шуточки и свист шпаны да слегка осуждающим, но и всепрощающим потряхиванием головы.

Один раз атаман-мыло зачалил Людочку в центральный городской парк. Там был загороженный крашеной решеткой загон, высокий, с крепкой рамой, с дверью из стального прута. В нише одной стены сделана полумесяцем выемка, вроде входа в пещеру, и в той нише двигались, дрыгались, подскакивали на скамейках, болтали давно не стриженными волосьями как попало одетые парни. Одна особа, отдаленно похожая на женщину, совсем почти раздетая, кричала в фигуристый микрофон, держа его в руке с каким-то срамным вывертом. Людочке сперва казалось, что кричит та несуразная особа что-то на иностранном языке, но, прислушавшись, разобрала: «Приходи. Любофь. А то...»

В загоне-зверинце и люди вели себя по-звериному. Какая-то чернявая и красная от косметики девка, схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала среди площадки: «Ой, нахал! Ой, живоглот! Чё делат! Темноты не дождется! Терпеж у тебя есть?!» «Нету у него терпежу! — прохрипел с круга мужик не мужик, парень не парень. — Спали ее, детушко! Принародно лиши невинности!»

Со всех сторон потешался и ржал клопочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, душили в паре себя и партнера, бросались на огорожу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать. Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла.

Людочка сперва затравленно озиралась, потом зажалась в уголок загона и искала глазами атамана-мыло — если нападут, чтоб заступился. Но Мыло измылился в этой бурлящей серой пене, да и молоденький милиционер в нарядном картузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтоб наглядно было: сила есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта сила вступала в действие. Милиционер приостанавливался, кивал картузом, и на его кивок тут же из кустов бузины являлось четверо парней с красными повязками дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем в загон и бросал парням звенящие ключи. Парни врывались в загон, начинали гонять и ловить безластой курицей летающую, бьющуюся в решетки особь, может, девку, может, парня — ввечеру тут никого и ни от чего отличить уже было невозможно. Хватаясь за решетки, за встречно выкинутые солидарные руки, жалкая, заголенная жертва, кровя сорванной кожей, красно намазанным ртом вопила, материлась: «Х-х-ха-ады-ы! Фашисты-ы! Сиксо-о-оты-ы! Педера-асты-ы!..»

«Сейчас они в собачнике покажут тебе и фашистов и педерастов... Се-э-эча-ас...» — торжествуя или сострадая, со злорадной тоской бросало вослед жертве чуть присмирившее стадо.

Людочка боялась выходить из угла решетчатого загона, все не теряла надежды, что атаман-мыло выскользнет из тьмы и она за ним и за его шайкой, хоть в отдалении, дотащится до дома. Но какой-то плюгавый парень в телесно налипших брючках, может, и в колготках, углядел ее и выхватил из угла. Малый поди еще и школу не закончил, но толк в сексе знал. Он жадно притиснул девушку к воробьиной груди, начал тыкать в лад с музыкой чем-то тверденьким. Людочка — не гимназистка, не мулечка-крохотулечка из накрахмаленной постельки, она все же деревенская по происхождению, видела жизнь животных, да и про людей кое-что знала. Она сильно толкнула хлыща-танцора, но он тренированный, видать, не отпускаясь, зуб кривой скалил. Один почему-то зуб у него и виделся. «Ну, чё ты? Чё ты? Давай дружить, кроха!»

Людочка все-таки вырвалась из объятий кавалера и наддала ходу из загона. Дома, едва отдышавшись и зажав лицо руками, она все повторяла:

— Ужас! Ужас!..

— Во-от, будешь знать, как шляться где попало! — запела Гавриловна, когда Людочка по давно укоренившейся уже привычке рассказала ей про все свои молодые развлечения.

Убирая связанную Людочкой кофту, юбку в складочку, Гавриловна назидала, говоря дитяте, что ежели постоялка сдаст на мастера, определится с профессией, она безо всяких танцев найдет ей подходящего рабочего парня — не одна же шпана живет на свете, или путного вдовца — есть у нее один на примете, пусть и старше ее, пусть и детный, зато человек надежный, а года — не кирпичи, чтоб их рядом складывать да стену городить. У солидного мужчины года-то к рассуждению, опыту и разумению, женская же молодость и ладность — к жизнеутешению и радости мужижкой. Раньше завсегда мужик старше невесты был, так и хозяином считался, содержал дом и худобу в полном порядке, жену доглядывал, заботником ей и детям был. Она, ежели мужчина самостоятельный сгодится, и поселит их у себя — на кого ей, бобылке, дом спокидать? А они, глядишь, на старости лет ее доглядят. Ноги-то, вон они, совсем ходить перестают.

— А танцы эти, золотко мое, только изгальство над душой, телу искушение; пошоркаются мушшына об женшыну, женшына об мушшыну, разгорячатся и об каком устройстве жизни может тут идти мысль? Я этих танцев отродясь не знала, вот и сраму лишнего не нахваталась, все мои танцы — в парикмахерской вокруг кресла с клиентом были...

Людочка, как всегда, была согласна с Гавриловной целиком и полностью, с человеком умным, опыт жизни имеющим, считала, что ей очень повезло, — иметь такого наставника и старшего друга не всем доводится, не всем выпадает такая удача. В общежитии-то, сказывают, вон чего делается — содом, разврат и условия плохие: воды часто не бывает, на газовую плиту и на стиральную машину очереди; захожие парни пробки вывертывают, свет вырубают, в потемках на девчонок охотничают...

Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила и не в тягость ей было содержать в полной чистоте дом, а в удовольствие, — зато, если замуж, Бог даст, выйдет, все она умеет, во всем самостоятельной хозяйкой может быть, и муж ее за это любить и ценить станет.

Недосыпала, правда, Людочка, голову иногда кружило, и кровь носом шла, по она ваткой нос заткнет, полежит на спине — и все в порядке, не цаца какая, чтоб по

больницам шляться, да и носик у нее маленький, аккуратненький, из него и крови-то вытекает всего ничего.

Той порой вернулся в железнодорожный поселок из мест совсем не отдаленных, с того же леспромхоза, где работал отчим Людочки, всем в местной округе знакомый человек по прозвищу Стрекач. Более о нем сообщить нечего, Стрекач и Стрекач. Ликом он и в самом деле смахивал на черного узкоглазого жука, летающего по древесной рухляди и что-то там и кого-то там длинными и хрусткими усами терзающего. Все отличие от всамделишного стрекача в вэпэврзэшном поселке урожденного Стрекача заключалось в том, что вместо стригущих шупалец-усов у этого под носом была какая-то грязная нашлепка, при улыбке, точнее при оскале, обнажающая порченные зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные.

Порочный, с раннего детства задроченный, он в раннем же детстве занялся разбоем: в школе отбирал у малышей серебришки, пряники, конфетки, разный шанцевый инструмент вроде резинок, шариковых ручек, значков, особенно настойчиво добывал жвачку, любую, но в блестящей обертке ценил больше всего. В седьмом классе, до которого его дотасили сердобольные учителя железнодорожной школы. Стрекач уже таскался с ножом, и отбирать ему ни у кого ничего не надо было — малое население поселка приносило ему, как хану, дань, все, что он велел и хотел. В седьмом же классе Стрекач совершил и первое преступление: в драке на трамвайной остановке подколол кого-то из городской шпаны и был поставлен на учет в милиции как трудновоспитуемый подросток. В том же году он был судим за попытку изнасилования почтальонки и получил первый срок — три года с отсрочкой приговора. Но отважный боец плевать хотел на ту отсрочку и после суда продолжал жить, как душа просила. Стрекач приспособился безнаказанно пиратничать на пригородных дачах. Если владельцы дач не оставляли выпивку, закуску и запирали двери на замок, он ломом крушил окна, веранду, бил посуду, растапывал скарб, рвал постели, мочился в банки с крупой и мукой, если была охота — оправлялся среди избы, рисовал череп и скрещенные кости на печке, вывешивал на двери унесенный из города плакат «Бойся пожара!» и прятался неподалеку, дожидаясь хозяев, которые быстренько выставляли выпивку, консервы, даже истоплю сухих дров, как в прежние годы в охотничьей избушке, излаживали и записочку ласковую: «Миленький гость! Пей, ешь, отдыхай — только, ради Бога, ничего не поджигай».

В благословенных, добычливых местах Стрекач прожировал почти всю зиму, но в конце концов его все же взяли — и три условных года обратились на сей раз в три года тюремных.

С тех пор и обретался герой поселка Вэпэврзэ в исправительно-трудовых лагерях, время от времени прибывая в родной поселок, будто в заслуженный отпуск.

Здесьняя шпана гужом тогда ходила за Стрекачом, набиралась ума-разума, почтительно клоня голову перед паханом и вором в законе, который, несмотря на свой авторитет, по-мелкому ошипывал свою команду, то в картишки, то в петельку, то в наперсток с нею играя.

Тревожно жилось тогда и без того всегда в тревоге пребывающему населению поселка Вэпэврзэ.

В тот летний вечер Стрекач, свободный от дел, сидел в парке на бетонной скамейке, вольно раскинув руки по бетонной же спине-плахе. Рукава красной, со ржавчиной рубахи на нем были до локтей закатаны, на руках, загорелых до запястий, изборожденных

наколками, поигрывали браслеты, кольца, печатки, современные электронные часы светились многими цифрами на обоих запястьях; в треугольнике вольно расстегнутого ворота рубахи на темном раскрылье орла поигрывал крестик, прицепленный к мелкозернистой цепочке, излаженной под золото; нежно-васильковый пиджак со сверкающими пуговицами, с бордовыми клиньями в талии — одеяние жокея, швейцара или таможенника не нашей страны, — где-то недавно «занятый», то и дело сваливался с плеч. Парни бросались за скамью, извлекали «фрак» из бурьяна и, ошипав с него комочки глины, репей, почтительно набрасывали на плечи дорогого гостя. Они, эти парни, во главе с атаманом-мыло ведали, что под цепочкой, ниже вольнокрылого орла, терзающего жертву с женскими грудями, есть могучее, внушающее трепет, изречение: «Верю в Иисуса Христа, Ленина и в опера Наливайко».

Стрекач лениво протягивал руку к стоящей на скамье бутылке с дорогим коньяком, отпивал глоток-другой и передавал ее услужливым корешкам.

— Ба-бу-бы-ы-ы-ы! Бабу хочу! — тоскливо баловался словами Стрекач и время от времени скорготал зубами так, будто не порченые зубы у него из-под усов торчали, а был полон рот камешника, и, сжигаемый неумемной страстью, он крошил камень — «аж дым из рота!»

Парни тарасились на такого редкостного человека и успокаивали его:

— Будет тебе баба, будет! Не психуй. Вот массы с танцев повалят, мы тебе цыпущек наймам. Сколько захочешь... Только вино все не выпивай...

— Ш-шыто вино-о? Ш-шыто гроши? Ш-шыто жизнь? — Стрекач отпил из горла, плюнул под ноги, зажмурившись, покатав голову по ребру плахи. Худо было человеку, совсем худо. Изнемогал он, и понимая, что такой кураж заслужен, выстрадан всей жизнью и невыносимыми лишениями в местах с жестокими правилами, с ограничением всяких свобод, парни стыдливо прятали глаза, вздыхали и мысленно торопили время.

— А-а, вот и хорошим девочкам идет, он чего-то нам несет, — встряхнулся Стрекач.

— Это Людка. Ее трогать не надо, — потупился Артемка-мыло.

— А шту, он балной или селка?

— Больной, больной...

— А нам су равна, а нам су равна... хоть балной, хоть какой, нам хоть ишачку... — Стрекач дернулся со скамьи, поймал за поясок плаща Людочку. — Куда спэшишь, дарагая? Подожди, нэ спэши, познакомься разреши...

Стрекач собирал в горсть плащик, комкал вместе с платьем, подтягивал к себе девушку, пытался усадить на колени. Людочка дергалась все сильнее, все настойчивее.

— Харр-раш-шо-о-о, что сопротивляешься, дарагая! Это дядя любит... От этого дядя звереет. Не вертись! Сядь, фря!

Людочка не садилась.

— Какая я вам фря? Я Люда. Да отпустите вы меня!

— Это правда Люда. Здешняя. Мы ее знаем.

— Ах, Люда, Люда, Людочка, с каемкой сине блю-удечко, — будто не слыша корешей, пропел Стрекач и в хищной усмешке обнажил под усами серые зубы. — Ты понимаешь, дя-дя хочет? Дя-дя! Хочет! И чему тебя в школе учили?

— Ничего я... ничего...

— Ты скажи! — хохотнул Стрекач. — Она брезговат!.. Ты почему грубишь? Кто тебя, паскуда, спрашивает? Кто? — Стрекач кинул Людочку через скамейку и сам туда перекинулся, рыча, ловил в бурьяне на четвереньках уползающую девчонку. — Пах-хади! Пах-хади! Нэ спэши, дарагая!.. Н-нэ спэши!.. — Стрекач поймал Людочку за плащ, подтянул ее к себе, макнул лицом в землю. — Н-не кудахтай, курица! — С треском рванул на ней платье.

Людочка все время пыталась крикнуть, но изо рта ее вырывалось только: «Усу... усу... усу...». И вдруг прорвалось, она придавленно запищала, но ей казалось — взвизгнула на весь белый свет.

— Во, любовь! — качнул Артемка-мыло кудлатой головой за скамью. — С песнопением...

Кореша его, их было трое, ознобленно подхихикнули:

— Мы поглядим?

— Глядите. Мне что? — пожал плечами Артемка и с трудом переборол себя, чтоб тоже не поглядеть.

— Да не вертись ты, паскуда! — раздалось из бурьяна. — Ну, куда ты? Куда? Там же ж горячая вода... Ты уймешься? — Стрекач бил куда-то кулаком, рассек руку о стекла, которыми сплошь был забит бурьян.

Людочка все пыталась кричать. Из удушливой тьмы, из прошлогоднего бурьяна, смешавшегося с нынешним, в ее разверстый рот упала, или ей помстилось, что упала, грязная шерсть, захлестнуло дыхание, тошнота, давившая грудь, вдруг разрешилась судорогой. Горло, схваченное спазмом, дернулось.

Стрекача подбросило. Выскочив из кустов, продираясь по бурьяну, он щелчками сбивал с «фрака», с нарядной рубашки что-то и иступленно лаялся:

— А-а, кур-р-рва! Облевала, весь фрак вокзальным винегретом завесила. — Сделав коромыслом руки, глянул вниз и застонал: — И шшш-ка-ар-ры! Шкары! — Попробовал огладить штаны, заметил красное на руках, принялся отсасывать кровь из пальцев и отплеивать. Жадно отпив коньяку, он повелительно качнул головой за скамью.

— Не-е, мы наших ждем. С танцев... мы... — залепетали парни.

Стрекач бросился на парней, кровеня рубахи, скрутил на груди корешков тряпье вместе с лагерными сувенирами, с цепочками под золото, щедро им даренные.



— Ы-ышшшь-те, фраера! Запачкаться боитесь? — свистел он в дыроватые зубы. — Меня под лафет, сами под буфет! Не выйдет! Не выйдет, дорогуши! Кто меня на девку навел? Кто эту выдру прикормил в саде? — Стрекач затолкал парней за скамейку, в бурьян, сунув руку в карман, где у него хранилась на подвесе изящная, умельцами локомотивного депо изготовленная финка, пригрозил: — И не киксовать!

Людочка слепо шаря по земле, по себе, ползала в бурьяне, натыкалась на кусты, между приступами рвоты чихала и все чего-то искала, искала, собирала рвань на груди.

Вдруг пронзительно взвизгнула, лупцуя, царапая Артемку-атамана, возникшего перед нею. По правде сказать, увидев ее, скомканную, изорванную, Артемка-мыло оробел и попытался натянуть на нее плащ, оторванный рукав на плечо. А она:

— М-мыло! Мыло! Мыло!.. — Вырвавшись из грязных, цепких зарослей, Людочка помчалась напролом, через объединенный топольник, поскользнулась на мостике, упала и все продолжала вопить: — Мыло! Мыло!..

Добежав до знакомого, такого уже родного дома Гавриловны, Людочка ударилась о калитку, сорвала ее со слабой деревянной вертушки, ввалилась в ограду, поползла по мытому недавним дождем тротуару, упала на ступеньку недавно ею выскобленного крыльца, уткнулась лицом в половичок и потеряла сознание.

Очнулась девушка на старом диване, на своей постели и сразу почувствовала под собой что-то холодное, скользкое, сунула под себя руку — клеенка. Гавриловна — бережливая хозяйка.

— Очнулась? Вот и хорошо. Вот и славно. Попей вот водички с брусницей, вкуси кисленькое, смой с души горькое... Попей, попей и не дрожи, не дрожи-ы, — миролюбиво успокаивала, гудела над Людочкой Гавриловна.

Людочка сперва жадно, с захлебом пила, но питье словно бы уперлось в какую-то створку, за которой вскипала тошнота, и она отстранила руку с кружкой.

— Бабе сердце беречь надо, остальное все у нее износу не знает... И родится баба не под нож, а под совсем другое... Ну сорвали плонбу, подумашь, экая беда. Нонче это не изъян, нонче замуж какую попало берут, тьфу нонче на эти дела... А тем мошенникам, тем фулюганам я чубы накручу! Ох, накручу!.. И ты тоже хороша! Скоко я те говорила: не ходи вечерами парком, не ходи, там одни лахудры да шпанята табунятся! Так нет, не слушаешься старших-то...

— Я к маме хочу.

— К маме? Дак и поезжай, золотко мое. Утром и поезжай, хоть на день, хоть на два. Я заведующей доложу и уберусь за тебя в парикмахерской-то, ты ж убираешься... Во-он у нас, что в твоей светлице!.. Уберу-усь, хоть нараскоряку, да ползаю ишшо.

В родной деревне Вычуган осталось два целых дома. В одном упрямо доживала и дожила свой век старуха Вычуганиха, в другом — мать Людочки с отчимом. Когда-то, давно еще, пелось тут: «В Вычугане мы живем, день работам, ночь поем». Отец пел уже по-другому: «В Вычугане мы живем, не работаем, но пьем».

Вся деревня, задохнувшаяся в дикоросте, с едва натопанной тропой, была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с разваленными оградами дворов и огородных плетней, с угасающими садовыми деревьями и вольно, дико разросшимися меж молчаливых изб тополями, черемухами, осинами, занесенными ветром из лесов. А старые, те еще, деревенские березы чахли. И липы чахли. И смородинник в бурьяне чах, и малина по огородам одичала, густо стеснилась, пустив в середку расторопную жалицу. Яблонька на всполье что кость сделалась. Там когда-то стояла изба Тюгановых, но Тюгановы куда-то делись, изба завалилась, ее растащили на дрова. Засохли усадебные деревца, кустарники приели овцы и козы. Яблоня эта, казалось, сама собой ободралась, облезла, как нищенка, одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего и сил набиралась?

В то лето, как Людочке закончить школу, каждый цветок на одинокой ветви взялся завязью, и такие ли вдруг яблоки крупные да румяные налились на нагом-то дереве. «Ребятишки, не ешьте эти яблоки. Не к добру это!» — наказывала старуха Вычуганиха. «Да сейчас все не к добру...» — поддакивали ей.

А яблоки перли. Листву собою совсем задушили, кору на ветке сморщили, все последние соки из дерева высосали. И однажды ночью живая ветка яблони, не выдержав тяжести плодов, обломилась. Голый, плоский сгвол остался за расступившимися домами, словно крест с обломанной поперечиной на погосте. Памятник умирающей русской деревеньке. Еще одной. «Эдак вот, — пророчила Вычуганиха, — одинова середь России кол вобьют, и помянуть ее, нечистой силой изведенную, некому будет...»

Жутко было слушать Вычуганиху. Бабы трусливо, неумело, забыв, с какого плеча начинать, крестились. Вычуганиха срамила их, заново учила класть крестный знак. И в одиночестве состарившиеся, охотно и покорно, бабы возвращались к вере в Бога. Больше-то им не к чему и не к кому было пристать, не в кого верить.

«Недостойны, поди-ко, — лепетали они, — материмся, выпиваем, омужичились без убитых на войне да по тюрьмам загинувших мужиков...». «Все мы — грязные твари, веры в Него недостойны. Но надо стремитца», — наставляла строгая Вычуганиха.

Бабы городили божницы из подобранных по чердакам и сараям икон, жгли огни, приспособив вместо лампад банки из-под мелкой рыбешки, называющейся по-нездешнему — «шпроты», на голых высохших ляжках катали свечки из воска и сала, доставали из сундуков тлелые вышитые полотенца. Мать Людочки, бывшая комсомолка, — туда же за бабьем, в суеверность впавшим. Хихикнула как-то Людочка над украдкой крестящейся матерью и затрещину схлопотала.

Людочка пошла за деревню и оказалась на зеленом холме, захлестнутом отгоревшими мохнатками мать-и-мачехи и следом солнечно зацветшей купавой, курослепом, одуванчиком. В купаве, почти задевая головки вольных цветов провисшим выменем, Олена — корова на привязи. Привыкшая к коллективу, она ходила в соседние пустые села, жутко там ухала, звала подруг и дозваться не могла. Потому и привязывали ее, каждый день вбивая кол на новом месте. Пастуха нет, потому как скота не стало. Олена, старая добрая корова, имя которой когда-то придумала Людочка, плохо ела на привязи, вымя у нее смялось. Она узнала крестную, двинулась навстречу, но веревка не пустила ее далеко, и она обиженно замычала. Людочка обняла Олену за шею, прижалась к ней и заплакала. Корова слизывала ее соленые слезы большим, позеленевшим языком и шумно, сочувственно дышала.

Примерли бабы в деревне Вычуган, овдовевшие по причине войны и всенародных побед на всех фронтах сражения за социализм. Ранней весной закончились земные сроки укрепления и оплота деревеньки Вычуган — самой Вычуганихи. Родственники ее утерялись в миру, на селе мужиков не было. Отчим Людочки кликнул друзей из леспромхоза, свезли на тракторных санях старуху на погост, а помянуть не на что и нечем. Мать Людочки собрала кое-что на стол, посидели, выпили, поговорили, — поди-ко Вычуганиха была последней из рода вычуган, основателей села.

Мать стирала на кухне, увидев Людочку, начала поочередно вытирать руки о фартук, потом, схватившись за поясницу, медленно выпрямилась, потом приложила ладони к большому животу.

— О, Господи! Вон кто у нас пожаловал! Вон кого кот навораживал... — Косо, бочком прилепившись на пристенную древнюю скамью, мать стащила с раскосмаченной головы платок и, собирая гребенкой густые волосы, неторопливо наслаждаясь нечаянной минутой отдыха, продолжала: — Я еще утресь обратила внимание — валятся и валятся на шесток головни — гостям быть. Откуда, думаю, у нас им быть? А тут эвон что! Чё притолоку-то подпираешь? Проходи. Чай не в чужой дом явилась.

Мать говорила, действовала руками и в то же время пристально вглядывалась в Людочку, охватывала ее беглым, но пронизательным взглядом. Очень много пережившая, перестрадавшая и переработавшая за свои сорок пять лет, мать с ходу уяснила — с Людочкой стряслась беда: бледная, лицо в ссадинах, на ногах порезы, осунулась девчонка, руки висят, во взгляде безразличие. По тому, как Люда стремительно сжала коленки, когда мать подозрительно на живот ее посмотрела, как она шибко тужится выглядеть бодрее, — ума большого не надо, чтобы смекнуть, какая беда с нею случилась. Но через ту беду не беду, скорее неизбежность, все бабы поздно или рано должны пройти. И каждая баба проходит ее одна и сама же с бедой совладать обязана, потому как от первого ветру береза клонится, да не ломается. Сколько их еще, бед-то, напастей, впереди, ох-хо-хо-нюшки...

Поскольку со всеми своими бедами-напастями и с жизнью своей мать Людочки привыкла справляться одна, так и думать привыкла: на роду бабьем даже как бы записано — терпи. Мать не от суровости характера, а от стародавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу, — пусть сама со своей ношей, со своей долей управляется, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно, донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой иль Богом определены. Она в голодные, холодные годы, с мужиком-пьяницей, худо-бедно подняла, вырастила дитя, надо и на другого где-то и как-то сил набраться. Или последние силы, что в ней, да и не в ней уже, в корнях ее рода бывших, сохранить.

— Ты на выходной или как?

— Что? Да-да...

— Вот и хорошо. А я как знала, сметаны подкопила, яиц... Яйца наши не то что ваши, городские, желток у них будто солнушко... А сам меду накачал. — Мать качнула головой, рассмеялась: — Приучается ко всему мирскому. Пчелы перестали его жалить. Может, отделит меду. На продажу флягу подготовили... Мы ведь переезжаем в леспромхоз. Как рожу... — Она убрала улыбку с губ, сморщила отекавшее, синюшное лицо, отвела взгляд в сторону и вздохнула глубоко, виновато: — Надумала вот на исходе

четвертого-то десятка... тяжело, говорят, в этой поре рожать. Да что сделаешь? Сам ребенка хочет. Дом в поселке строит... а этот продадим. Но сам не возражает, если на тебя его перепишем...

Мать по-прежнему не называла нового мужа мужем и хозяином, может, дочери стеснялась, но скорее всего в ней укоренилось недоверие к устройству своей жизни. Она не хотела до конца верить в свою удачу, чтоб потом, если ничего не сложится, не так надсадно было бы одолевать, по-городскому говоря, разлуку, а по-деревенски — если бросит мужик, так меньше плакать.

— Не надо мне никакого дома. Зачем он мне? Я так...

— Ну так дак так, на так и спросу нет. А нам деньги нужны. Может, хоть сот пять дадут на шифер, на стекла. Да кто даст? Кому он, этот дом, нужен? Деревня эта Богова кому нужна? — По лицу матери вдруг зачастили слезы, и она какое-то время сидела, глядя в окно, за огород, в заречную сторону, темнеющую дальней щетинкой леса и одиноким, забытым черным стогом среди зеленой пустыни, в которой вроде бы не выкошен, а вырублен был из пестрой мраморной плоти малый клинышек — накосил для коня и уплавил копешку зелени лесничий с центральной усадьбы.

— Ох-хо-хо, что-то с нами будет? Кому от этого разора польза? — спросила мать пространство и, не дождавшись отклика, промокнула лицо сырым чиненым фартуком. — Ну, я достираю, а ты Олену подои, дров принеси. Сам-то после смены на доме колотится, поздно приедет, голодехонький работник. — В голосе матери проскользнуло что-то даже похожее на ласку. — Похлебку ему сварим, капусты прошлогодней из погреба достань, огурчишек. Я в погреб уже не ходок, а ты слазь, там самим в сусеке, под опрокинутой бочкой, лагуха с брагой припрятана — от помочи осталось маленько, может, и выпьете с устатку...

— Я не научилась еще, мама, ни пить, ни стричь.

— Вот и хорошо. Вот и хорошо... — напевно начала мать, думая о чем-то своем. — Чё же ты стричь-то? — спохватилась она. — Да ладно. Научишься когда-нито. Не боги, как говорится, горшки обжигают, — все продолжала мать думать о своем, вслушиваясь в себя. — А что пить не научилась — ни к чему эта наука. Пагуба от нее одна и развращенье. Это она нашу деревню надсаженную доконала, пагуба эта. — И опять погружаясь в себя, словно бы из сна уже, добавила: — Так, видно, Богу было угодно...

— Все теперь о Боге вспомнили! Все с упованьем, с жалобами к нему, как в сельсовет... — начала Людочка, но почувствовала, что слова ее, даже звуки слов повисли в пустоте, пылью осели на стены — мать не слушала и не слышала ее.

И когда Людочка доила корову на цветущем травяном бугре, все смотрела, смотрела в заречные дали, все вспоминала и вспоминала. Ей казалось, что память ее, душа ли продолжают там, в нарядном заречье, и слышат ее там, да отозваться некому.

Хватило ее воспоминаний аж на всю дойку.

Поднявшись к огородам, Людочка остановилась с подойником на руке и отчего-то стала думать об отчине — как он трудно, однако азартно вращался в хозяйство. Он не умел почти ничего ни по дому, ни по двору, зато хорошо управлялся с машинами, с мотоциклом, с ружьем, с пилой, с топором, с лопатой. Долго не мог в огороде отличить

растущую овощь друг от друга, беспомощен был в пасеке, пчелы ели его поедом и гнали от ульев. Коровы и кони к себе не подпускали. На сенокосе он был дурак дураком — воспринимал сенокос не как работу, а как баловство и праздник, барахтался в сене, любил спать в шалаше, бегал босиком по лугу, бросал кепку в небо, имал ее. Надев мужицкие кальсоны, Людочка и мать метали стог, управлялись наверху, отчим подавал навильники, горсть подденет и рассорит весь навильник сена, пока до места донесет, или ахнет копну на женщин, завалит их. Однажды сшиб навильником сверху Людочку, она полетела кубарем вниз, могла изувечиться, а он тычет в нее пальцем, слова от хохота сказать не может. Первый раз она тогда и увидела, как он хохочет, оскалив желтые зубы. И от жути, ее охватившей, подхихикнула ему.

Дометывали они последний стог на берегу реки вдвоем — мать убежала управляться по дому, варить еду. Когда закончили метать стог и, как умели, обвязали его верх сплетенными прутьями — от ветра, — отчим махнул рукой на обмысок: «Ступай туда, а я очешу стог».

Людочка купалась в родной реке, смывала с себя сенную пыль и труху с тем удовольствием, с той расслабляющей радостью, которая ведома лишь людям, хорошо, всласть поработавшим в знойную пору на сенокосе, без прорух и неполадок в погоде, наметавшим добротного, едового сена. Корм корове — это уверенность в завтрашнем дне, житье без забот всю зиму.

Прыгая по луговой тропинке на одной ноге, вытряхивая из уха воду, Людочка вдруг услышала за обмыском звериный рокот, вой, шлепанье, взбежала на пригорок и увидела картину: отчим, будто детсадовец, булькался на отмели, молотил узластыми бледными ногами по воде, хлопал черными по локоть руками, брызгался и веселой пастью, сверкающей вставными зубами, ловил брызги.

Мужик с бритой, седеющей со всех сторон головой, с глубокими бороздами на лице, весь в наколках, присадистый, длиннорукий, хлопая себя по животу, вдруг забегал вприпрыжку по отмели, и хриплый рев радости исторгался из сгоревшего или перержавленного нутра мало ей знакомого человека, — Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства, оно, детство, настигло или настигало его, вернулось к нему лишь теперь, и что каждому человеку положено поздно или рано прожить свое, отыграть, отбегать, отгрешить, отплакать. И тот, кто изымает какую-то часть жизни человека, совершает преступление против него и всякой жизни, сам он, этот изыматель, и есть насильственный преступник, пытающийся взять то, что ему не принадлежит.

Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще она не была дурой, она в уединенности своей огогого как умела сама с собой разговаривать, но выступит на свет, на люди — и робеет, становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую зазубренные даты царствования римского императора Августа. Особенно же не давался ей почему-то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое-что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но нужна-то не Америка, а дата — и двойка тебе, да еще и назидание вослед: «Когда ветер в голове гулять перестанет, выучишь, исправишь. Мне двоечники в отчете не надобны!..»

Людочка упяtilась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дороги. Переделалась дома в сухое, легкое платье, со смехом рассказала матери о том, как отчим купается.

— Да где же ему было купанью-то обучиться? С малолетства в ссылках да лагерях, под конвоем да охранским доглядом в казенной бане. У него жизнь-то ох-хо-хо... — Спohватившись, мать построжела и, словно кому-то доказывая, продолжала: — Но человек он порядочный, может, и добрый.

С тех самых пор, с купанья отчима, Людочка перестала его бояться, но ближе они все же не сделались. Отчим близко к себе никого не допускал. Сейчас вот, на лугу, за покинутой родной деревней, она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому-нибудь живому, что подумалось: побежать бы в леспромхоз, за семь верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, а то и пожалеет...

— Я уеду с утренней электричкой. Ты не возражаешь?

Мать вскинулась, что-то вылавливая в своей голове, сосредоточенно думала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу:

— Ну что ж... коли надо, дак...

— Х-ха, быстро-то как! — удивилась Гавриловна. — Что у родителей-то, тесно?

— Они к переезду готовятся.

— К переезду? Тогда конечно. Чем там под ногами путаться, лучше здесь... Чем родители порадовали?

— Да вот. — Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из четырех неизносчивых ниток эта веревочка: две коричневые, из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и две шелковисто-белые. Конец каната когда-то выменяли вычугане на туристском катере, расплели и веревки на всю деревню понаделали. Крепких. Вот она, плотно скрученная веревочка! Мать сказывала, что привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, пряла, починяла и зыбала ногой люльку с ребенком. «А ты ревливая была. Качаю, качаю, пою, пою: баю-баюшки, баю, не ложися на краю... А ты все реवेशь... Плюну я, да чтоб тебя разорвало, заору. Ты с испугу зальешься пуще того...»

— Чего плачешь-то?

— Маму жалко.

— А-а, маму? Меня вот и пожалеть некому... — Гавриловна помолчала и другим уже голосом повела: — Ты вот чё, девонька... хым... хым... стало быть. Артемку — банное мыло-то забрали... Исцарапала ты его шибко... примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое... от Стрекача были, упредили: если ты пикнешь где, тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят...

Долго и тягостно молчали в доме Гавриловны. Наконец Гавриловна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве, прижала к вислой груди, под которой далеко-далеко где-то, пьяно шатаясь, ходило вприсядку, поплясывало изношенное сердце.

— У меня ведь и всех благ — свой угол. Я за него всю жизнь положила, работала как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не пользовала. Люди

добрые и в санаторьи морски либо в профилакторьи трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием саквояж и по деревням родимым — вшей обирать... Сколько я чесоткой маялась, лишаев да волосяных стригунов навидалась, чтоб копейкой этой разжиться, на избу накопить. Стыдно признаться и грех утаить — одеколон разбавляла... Я ведь и по тюрьмам стригла. На легкую-то работу, в дамский зал, меня уж перед пенсией перевели...

— Хорошо, хорошо. Я в общежитие пойду, — тряхнула головой Людочка, но головы от пригревшей ее груди не отнимала и все слышала, слышала, как мучается человеческое сердце, торопится куда-то.

— Временно. Временно, хорошая моя. Бандюга этот долго не нагуляет... утомлятца он на воле быстро... Он засядет, а я тебя и созову обратно... — Гавриловна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлипывала: — Господи! Да отчего же это добрым людям покоя-счастья нету? Зачем она вечно в тревоге да в переживанье? Будет ли им хоть какое послабление?..

Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с центральной усадьбы колхоза, где была школа-десятилетка, ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды по весне, к Пасхе, что ли, словом, к какому-то большому весеннему празднику она белила печь, мыла окна, скоблила, вытирала и, когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо, она не убежала домой, решив довести работу до конца. И простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось районной больницей. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной, больнице не было, и, как водится в наших больницах, и не только в районных, временно определили Людочку лежать в коридоре, на всех ветрах-сквозняках с воспалением-то легких.

Ночью длинной, бесконечной, она обнаружила в конце коридора, за печкой, умирающего парня со ссохшимися бинтами на голове и от ночной няньки узнала нехитрую и оттого совсем жуткую его историю.

Вербованный из каких-то приволжских мест, одинокий парень поостыл в лесосеке, у него на виске набух фурункул. Он сперва на него и внимания-то не обращал, продолжал ездить в лес на работу. Но голова болела все нестерпимей, и парень обратился к леспромхозовскому фельдшеру.

Молодая, искучерявленная, как барашек, с легоньким пока еще золотом в ушах и на перстах девица, за два года с трудом научившаяся в районном училище измерять температуру, кровяное давление, больно делать уколы и клизму, с фонендоскопом вместо амулета на тонкой шейке, в накрахмаленном белом колпачке, с кулачками, опущенными в карманчики халата, этакое утомленно-капризное медицинское светило, вяло поинтересовалась: «Ну, что там у вас?» — и брезгливыми пальчиками помяла взбухший на виске парня нарыв. «Чирей и чирей. Лезут со всякими пустяками!» — последовало заключение.

Через день эта же фельдшерица вынуждена была лично сопровождать молодого лесоруба, впавшего в беспамятство, в районную больницу. А там в неприспособленном для сложных операций месте вынуждены были срочно делать парню трепанацию черепа и увидели, что ничем больному помочь невозможно — от гноя, прорвавшегося под черепную коробку, началась разрушительная работа. Не очень извилистый мужицкий

мозг был крепок, разлагался медленно. Совсем еще недавно здоровый человек ни за что ни про что принимал мучительную неотмолимую смерть.

Он уже агонизировал, когда его из переполненной палаты, по просьбе больных, переместили в коридор, за печку.

Сердце парня работало учащенными, мощными толчками, легкие со свистом выбрасывали перекаленный воздух, испорченное горло, сожженный язык издавали один и тот же звук «псих, псих, псих...», будто накачивали за печкой резиновое колесо неисправным насосом.

Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка заглянула за печь и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего в роде человеческом, она приложила ладонь к лицу парня — голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих, насос перестал в нем качать воздух, разлепил ресницы, открыл плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно усилие — различил слабый свет и человека в нем. Поняв, что он еще здесь, на этом свете, парень попытался что-то сказать, но доносилось лишь «усу... усу... усу...».

Издревле ей доставшимся женским чутьем она угадала, что он пытается сказать ей спасибо. В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден, иначе что бы его погнало в далекий край, на гибельные эти лесозаготовки. Он из тех, наверное, думала Людочка, про кого по радио читали: мол, недолюбив, недоработав и недочитав последнюю строку, иль недокурив последнюю папироску, или что-то в этом роде — уходили парни в бой, а тут вот — на тяжелую работу. И хотя у нее всегда были трудности в школе, в том числе и с литературой, и с русским языком, особенно с запоминанием причастных и. деепричастных оборотов, она все же прониклась жалостью к тем, про кого говорилось в стихах, то есть к «рано ушедшим на кровавый бой».

Но вот погибает человек без войны, без боев, такой молодой, чернобровый, может, еще и полюбить никого ни разу не успев, может, и родных-то у него нету...

Людочка принесла что-то похожее на табуретку, с гнутыми алюминиевыми подставками вместо ножек, села возле молодого лесоруба, взяла его руку и долго не могла согреть под собой скользкое сиденье. Парень с невыразимой надеждой глядел на нее, губы его, истрескавшиеся от жара, шевелились, пытаясь что-то сказать. Она подумала, что он читает молитву, и стала ему помогать, пожалев, кажется, первый раз в жизни, что не потрудилась выучить ни одной молитвы, так, с пятого на десятое что-то похватила от деревенских старух, тоже до конца ни одной молитвы не знающих: «Боже праведный! Боже преславный... Раба твоего прости и согрешенья вольные и невольные... огневицу угаси, врачебную Твою силу с небеси пошли...»

Парень слабо шевельнул пальцами — он слышал ее, но едва ли понимал слова, лишь звук и древний лад доходили до него. И тогда она натужилась, припоминая складные стихи, точнее строчки из стихов, случайно прочитанных в девчоночьих альбомах, в учебниках, но главным образом в районной газете «Маяк земледельца»: «Отговорила роща золотая... любовь — это бурное море, любовь — это злой океан, любовь — это счастье и горе... И долго буду славен тем народу, что стройки коммунизма возводил... а еще скажи слово прощальное: передай кольцо обручальное... чтобы жить да жить и на тучных нивах колхозных труд счастливый осуществить...»



Чего Людочка только ни говорила, напрягая свою не очень-то перегруженную память, чтоб только отвлечь человека от боли и предчувствия близкой смерти.

Но вот и она выдохлась, ее начало покачивать на шаткой, скользкой табуретке. Людочка умолкла и, кажется, задремала.

Встряхнулась она от слабого стона, похожего на щенячье поскуливание. В окно, прорубленное в другом конце коридора, сочился рассвет. Видны сделались слезы, оплавившие жарко пылающее лицо парня. Людочка пожатием руки дала понять, что слезы — это хорошо, облегчают они сердце и подумала: может, и в самом деле хорошо, может, парень никогда и не плакал во взрослой жизни. Но умирающий не ответил пожатием на ее пожатие, и она обмерла в себе — не для того он плачет, чтоб было облегчение, плачет он по причине совсем другой, по вечной, глубоко спрятанной причине. Цену, точнее смысл всякого сострадания, в том числе и ее, он постиг здесь, сейчас вот, умирая на больничной койке, за облупившейся, грязной печкой, — совершилось еще одно привычное предательство по отношению к умирающему.

Отчего так суетно милостивы, льстиво сочувствующие люди возле покидающего мир человека? Да оттого, что они-то, живые, остаются жить. Они будут, а его не станет. Но он ведь тоже любит жизнь, он достоин жизни. Так почему же они остаются, а он уходит и все отдаляется, отдаляется от живых и от всего живого, точнее они от него трусливо отстраняются. Никакими слезами, никаким отчаяньем, выражающим горе, не скрыться им от самого пронизательного взора — взора умирающего, в котором сейчас вот, на кромке пути, в гаснущем свете сосредоточилось все зрение, все ощущение жизни, его жизни, самой ему дорогой и нужной.

Предают его живые! И не его боль, не его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорее кончились его муки, для того, чтоб самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыханье, они, живые, осторожно ступая, не его, себя оберегая, убрдут, унося в себе тайную радость напололам с торжеством. К ним она, смерть, покудова никакого отношения не имеет, может, и потом, за многими делами, не заметит она их, забудет о них и продлит их дни за чуткость, за смиренность, за сострадание к ближнему своему.

Парень последним, непримиримым усилием выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся — он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал, согласия быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо: вдвоем они сделались бы сильнее смерти, восстали бы к жизни, в нем, почти умершем, появился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на своем пути к воскресению.

Но никто, ни один человек на свете не оказался способен на неслыханный подвиг, на отчаянную, беззаветную жертву ради него, этого парня. Да-а, не декабристка она, да и где они ныне, декабристки-то? В очередях за вином...

Рука парня свесилась с кровати, рот, жарко открытый, так и остался открытым, но никаких более звуков не издавал, и глаза не сразу, а как-то неохотно, несогласно, медленно-медленно прикрылись ресницами, укрыв почти яростное свечение, ничем не напоминающее туман смертного забытья.

Людочка, ровно бы уличенная в нехорошем, тайном поступке, постояла, одернула халатик и крадучись пробралась к своей койке, накрылась с головой одеялом. Но она слышала, как санитарка обнаружила мертвого парня за печкой, как тихо молвила:

«Отмучился, горюн»; как выносили мертвого на носилках, как складывали и убирали матрац и койку...

С тех пор не умолкало в ней чувство глубокой вины перед тем покойным парнем-лесорубом. Теперь вот, в горе, в заброшенности, она особенно остро, совсем осязаемо ощутила всю отверженность умирающего человека, теперь и самой ей предстояло до конца испытать чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия — пространство вокруг все сужалось и сужалось, как возле той койки за больничной облупленной печью. Зачем она притворялась тогда, зачем?

Ведь если бы и вправду была в ней готовность до конца остаться с умершим, принять за него муку, как в старину, может, и в самом деле появились бы в нем неведомые силы. Ну даже и не свершись чуда, не воскресни умирающий, все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя, до последнего вздоха, сделало бы, прежде всего, ее сильной, уверенной в себе, готовой на отпор злым силам.

О-о, она теперь понимала совсем вживе, совсем натурально то, о чем когда-то читала и равнодушно зубрила по учебникам, как выживали в тюрьмах-одиночках в цепи закованные герои. Конечно же, они были сами творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить сострадание...

Да хотя бы те же барыньки-декабристки.

Но по делу если сказать, девочки из сегодняшней школы не верили в жертву людей, тем более таких вот в неге выросших барынек. Тут вон свои бабы, не пряниками вскормленные, за кусок хлеба, за мелкую подачку иль обиду глаза друг дружке выцарапывают, мужика, пусть хоть и бригадира, да даже и председателя таким матом обложат, что...

Людочка неожиданно подумала об отчине: вот он небось из таких, из сильных? Да как, с какого места к нему подступиться-то? Было время, их, деревенских школьниц-шмакодявок, подвыпившие парни молодецки-весело спихивали в клубе со скамеек на грязный пол, а сами сидели просторно, одни, и не поднимали с пола девчонок до тех пор, пока они не обзаводились телом, которое уже можно мять и тискать.

А те, городские, на танцплощадке?

Разве они не столкнуты со скамейки под ноги, на грязный пол? И зачем она вместе с Гавриловной осуждала их? Чем она-то их лучше? Чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы. И нечего...

Места в городском общежитии пока не было, и Людочка продолжала квартировать у Гавриловны. Чтоб «саранопалы» не заметили, велела хозяйка Людочке возвращаться в потемках, да не по парку, округой. Однако Людочка не слушалась хозяйки, ходила парком, не озиралась, ходила и ходила будто во сне. Здесь, в парке, ее снова подловили парни, начали стращать Стрекачом, незаметно подталкивали за скамейку.

— Вы чего?

— Да ничего! Насчет картошки дров поджарить соображаем.

— Ишь какие! Разохотились!

— А чё? Теперь все равно, плонба сорвана, как Гавриловна бает, мышеловка наготове, знай имай мыша... — выпившие молодцы вэпэвэрзэшники все теснили и теснили Людочку в заросли. Стрекача среди них не было. Жаль. Людочка в кармане плаща таскала старую, из обихода вышедшую опасную бритву Гавриловны, решив отрезать достоинство Стрекача под самый корень! «Чем тебя породил я, тем тебя и убью», — вспомнила она хохму из чьего-то школьного сочинения.

О страшной такой мести сама Людочка не додумалась бы, но она слышала на работе о подобном поступке одной отчаянной женщины. И чего только не наслушалась она в привокзальной парикмахерской. Там стригут ножницами и языками с утра до вечера. Совсем уж было собралась Людочка тайком сходить в церковь, но там такая, говорят, давка была, когда освящали куличи на Пасху, такое столпотворение, что она и не пошла, хватит и того, что видит и слышит вокруг. По заведенной привычке попробовала заикнуться насчет того, чтобы вместе с Гавриловной сходить во храм, но та ей напрямки бухнула: мол, достойным веры в Бога надо быть, мол, не комсомольский тебе это стройотряд, не бардак под названием «десант на колесах», пусть, мол, «мохом грех ейный хоть маленько обрастет, в памяти поистлеет, тогда уж, может, и допущены к стопам Его страдальческим будут они, богохулки».

— Жаль, нету вашего вождя — такой видный кавалер!.. Жаль! — повторила она вслух и погромче сказала в темноту: — А ну отвалите, мальчики! Хватит! Одно платье порвали! Плащик спортили! Пойду в ношеное переоденусь. Не из богачек я, уборщицей тружусь.

— Дуй! Да смотри: любовь и измена — вещи несовместимые, как гений и злодейство.

— Ишь ты, грамотный какой! Отличник небось?

— Все и всегда делаю на пять! Не хуже Стрекача, испытаешь мои способности, похвалишь.

— А ты мои.

Людочка и переделалась в старое ношеное платье, еще деревенское, еще с отметиной на груди от комсомольского значка и с кармашками ниже пояса. Она отвязала веревочку от деревенской торбы, приделанную вместо лямки, сняла туфли и аккуратно их соединила на коврикe возле дивана, придвинула было листик бумаги, долго искала в шкатулке среди пуговиц, иголок и прочего бабьего барахла шариковую ручку, нашла, но ею давно не писали, мастика высохла. Поцарапав на бумаге, Людочка с сердцем бросила ручку на пол и, крикнув Гавриловне, владычествующей на кухне: «Пока!» — вышла на улицу. У крыльца надернула старые калошки, постояла за калиткой, словно бы с непривычки долго закрывала вертушку. На пути к парку прочитала новое объявление, прибитое к столбу, о наборе в лесную промышленность рабочих обоого пола. «Может, уехать?» — мелькнула мысль да тут же и другая мысль перебила первую: там, в лесу-то, стрекач на стрекаче, и все с усами.

В парке она отыскала давно уж ею запримеченный тополь с корявым суком над тропинкой, захлестнула на него веревочку, сноровисто увязав петельку, прoderнула в нее конец — все-таки деревенская, пусть и тихоня, она умела многое: варить, стирать, мыть,

корову доить, косить, дрова колоть, баню истопить и skutать, веревку для просушки белья натянуть и увязать. Коня, правда, запрячь не могла — в ее деревне лет уж десять лошади не велись. И еще не могла она, боялась щупать куриц, отрубать петухам головы, не научилась, хотя и пробовала, пить, не научилась материться...

Ну да пожила бы на этом милом свете, глядишь, и сподобилась бы.

Людочка взобралась на клык торчащий из ствола тополя окостенелый обломьш, ощупала его чуткой ступней, утвердилась, потянула петельку к себе, продела в нее голову, сказала шепотом: «Боже милостивый, Боже милосердный... Ну не достойна же... — и перескочила на тех, кто ближе: — Гавриловна! Мама! Отчим! Как тебя и зовут-то, не спросила. Люди добрые, простите! И ты Господи, прости меня, хоть я и недостойна, я даже не знаю, есть ли Ты?.. Если есть, прости, все равно я значок комсомольский потеряла, никто и не спрашивал про значок. Никто и ни про что не спрашивал — никому до меня нет дела...»

Она была, как и все замкнутые люди, решительна в себе, способна на отчаянный поступок. В детстве всегда первая бросалась в реку греть воду. И тут, с петлей на шее, она тоже, как в детстве, зажала лицо ладонями и, оттолкнувшись ступнями, будто с высокого берега бросилась в омут. Безбрежный и бездонный.

Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в ее недре, она догадалась, где болит, попробовала схватиться за петлю, чтоб освободиться, цапнула по веревочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею и успела еще услышать кожей струйку, начавшую течь и тут же иссякшую. Сердце начало увеличиваться, разбухать, ему сделалось тесно в сужающейся груди. Оно должно было проломить ребра, разорвать грудь — такое в нем напряжение получилось, такая рубка началась. Но сердце быстро устало, ослабло, давай свертываться, стихать, уменьшаться и, когда сделалось всего с орешек величиной, покатило, покатило вниз, выпало, унеслось без звука и следа куда-то в пустоту.

И тут же всякая боль и муки всякие оставили Людочку, отлетели от ее тела. А душа? Да кому она нужна, та простенькая, в простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа?

— Ну, чё она, сучка, туфтит, динаму крутит, что ли? Я ей за эти штучки...

Один из парней, томившийся в парке Вэпэвэрзэ, сорвался с места, прошлепал по шаткому дырявому мостику и решительно двинулся краем парка к чуть высвеченному отдаленными фонарями и окнами рядку тополей.

— Когти рвем! Ко-огти! Она... — разведчик мчался прыжками от тополей, от света.

Через час, может, и через два, сидя в привокзальном заплеванном ресторане, разведчик с нервным хохотком рассказывал, как увидел еле дрожащую всем телом Людочку, качающуюся в петле туда-сюда, то задом, то передом поворачивающуюся, язык во-о-о какой вывалился, и с ног что-то капало.

— Ну дает! — ахали корешки. — Ну сделала козла... О-ох, падла! Была бы живая, я бы ей показал, как вешаться... я бы показал...

— Это ж надо! В петлю! Из-за чего!

— Надо Стрекача предупредить. Грозился же...

— Ага, обязательно. Когтистый зверь, задерет. По последней, братва, по последней. Вы-ы-ыпьем, бра-ат-цы-ы, удалую за поми-и-ин ее души-ы-ы.

— Последняя у нашего участкового жена. Поехали, поехали, пока нас не забарабали...

— Э-эх, идиотина! Жить так замечательно в на-ашей юной, чудесной стране-э...

Хоронить в родной деревне Вычуган Людочку не решились, там, как избудется последнее жилье, сотрется с земли пристанище людей, объединенный колхоз перепашет все под одно поле и кладбище запашет — чего ж ему среди вольного колхозного раздолья укором маячить, уныние на живых людей наводить.

На городском стандартном кладбище, среди стандартных могильных знаков Людочкина мать в накинутой на нее светло-коричневой шали с крапчатой каймой все закрывала бугор живота концами шали, грела его ладонями — шел дождь, она береглась, но забывшись, подымала шаль ко рту, зажевывала шерстяную материю и сквозь толстый мокрый комок, как из глухого вычуганского болота, доносило вой ночного зверя или потайной, лешачьей птицы выпь: «Уу-у-у-удочка-а-а-а...»

Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались, и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки.

После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подсекающихся ногах Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка и завопила: «У-у-удоч-ка!» — муслила карточку квартирантки, увеличенную со школьной фотографии. Беленькая, еще не в смятой форме, Людочка вышла как живая, даже улыбку было заметно. Гавриловна как-то разглядела ту припрятанную застенчивую улыбку.

— За дочку, за дочку держала, — высказалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце. — Все пополам, каждую крошечку пополам. Замуж собиралась выдать, дом переписать... Да голубонька ты моя сизокрылая... Да ласточка ты моя, касаточка! Что же ты натворила? Что же ты с собой сделала?..

Мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей, чужого дома стеснялась. Только слезы, неприкаянные слезы, переполнившие никем еще не измеренную русскую бабью душу, катились сами собой со всего лица, выступали из всех ранних и не ранних морщин, даже из-под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшения, проступало мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, потчевать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала, отрешилась от мирских дел. Прикрыв глаза черными круглыми веками, сложив руки на животе, она лежала в горнице совсем выговорившаяся, наплакавшаяся и вроде бы неживая.

Когда слезы матери со звуком бились о тарелки с мясом и с картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла: «Извините!» — и торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по столу. «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте», — просила она.

Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул: «Я пойду покурю», — и, накинув на себя болоньевую куртку с вязаным воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки Вэпэвэрзэ и двинулся по направлению к парку.

Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека — Стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтоб уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу.

Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развалиясь на скамье, парень не парень, мужик не мужик в малиновой рубахе, с браслетами, часами и кольцами на руках, крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке с вязаным воротником, словно пробитой по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей.

— Чё те, мужик?

— Поглядеть вот на тебя пришел.

— Поглядел и отвали! Я за погляд плату не беру.

— Так, значит, ты и есть пахан Стрекач?

— Допустим! Штаны спустим...

— Ишь ты! Еще и поэт! Прибауточник! — Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи Стрекача крестик, бросил его в заросли. — Эт-то хоть не погань, обсосок! Бога-то хоть не лапайте, людям оставьте!

— Ты... ты... Фраер!.. Да я те... Я те обрезанье сделаю. По-арапски! — Стрекач сунул руку в карман.

Вся компания вэпэвэрзэшников замерла, ожидая со страхом и вожделием, какое сейчас захватывающее дух кровавое начнется дело.

— Э-э, да ты еще и ножиком балуешься! — скривил губы отчим Людочки. Неуловимо-молниеносно перехватив руку Стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы.

Тут же, не дав опомниться Стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубахой и поволок удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пинал мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и как персидскую царевну швырнул в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул Стрекач оголившимся животом, исчирканным красными полосами — не раз симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдергивались с мясом, не ломались по дыркам, как наши отечественные. Оловянные, никелевые ли, может и серебряные, заморские

пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту крепкие серебристые крючки. Пулею сверкнув, разлетелись те пуговицы по сторонам, одна аж на другую сторону канавы улетела, птаху малую выпугнула из кустов.

Из зелено-черных, соплями обвешанных зарослей раздался такой вопль, что если б в это время заревел давно умолкший, ржавчиной захлебнувшийся гудок паровозного депо, так его было бы не расслышать.

Вороны взлетели, собачонки бродячие из парка Вэпэвэрзэ прынули, сорвалась с привязи старая одноглазая коза.

Отчим Людочки вытер руки о штаны и пошел прочь.

Вэпэвэрзэшное кодро — шестерки Стрекача заступили дорогу мужику, он уперся в них взглядом. Парни-вэпэвэрзэшники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот запросто стопчет! Настоящего, непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей, по-звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди оттого, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящейся не в сознании, а за пределами его в том месте, где, от пещерных людей досгавшееся, сквозь дремучие века прошедшее, клокотало всесокрушающее, жалости но знающее бешенство.

У-у-уы-ы-ых! У-у-у-уы-ы-ых! — доносилось из угробы, из-под набрякших неандертальских бугров лба, из-под сдавленных бровей, а из глаз все сверкали и не гасли, сверкали и не гасли те искры, тот пламень, что расплавил и сделал глаза пустыми, ничего и никого не видящими.

Пакостные, мелкие урки, играющие в вольность, колупающие от жизненного древа липучую жвачку, проходящие в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел, для всамделишного ухода в преступный мир или для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшееся детство, махнуть рукой на рискованные предприятия, вернуться в обыденный мир отцов и дедов, к повседневному труду, к унылому размножению, сейчас вот уловили они хилыми извилинками в голове, что существование среди таких деятелей, как это страшилище, — житуха ох какая нефартовая, ох какая суровая и, пожалуй что, пусть она идет своим порядком. Вот уж когда размоет все границы меж тем и этим миром, а к тому дело движется, когда совсем деваться некуда будет, что ж, тогда «здрасьте!», тогда под крыло такого вот пахана...

Парни занялись спешным делом: трое или четверо волокли из канавы почти уже сварившегося, едва слышно попискивающего Стрекача. Кто-то к трамвайной остановке ринулся — вызвать «скорую», кто-то — в старые бараки с двумя-тремя еще не забитыми окнами, где обретались отверженные обществом, спившиеся существа и брошенные детьми старики, отыскивать мать пострадавшего, обрадовать привычным известием совсем разрушенную старуху об еще одном «художестве» сыночка родимого, кажется, насовсем отгостившего под крышей родного барака. Славный, бурный путь от детской исправительно-трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенные,

ограбленные, царапанные, резанные, битые, в страхе ожидания напасти живущие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового Стрекача, ими же порожденного и возвращенного.

Дойдя до окраины парка, отчим Людочки споткнулся вдруг и по закоренелой привычке жить настороже, все видеть, все слышать, заметил на сучке, нависшем над тропой, обрезок пестренькой веревочки, почему-то не отвязанной милиционерами. Какая-то прежняя, до конца им самим не познанная злая сила высоко его подбросила, он поймался за сук, тот скрипнул и отвалился от ствола, обнажив под собой на глаз коня похожее йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим Людочки тихо, для себя молвил:

— Что же ты не обломился, когда надо? — и с внезапным неистовством, со все еще неостывшим бешенством искрошил сук в щепки. Отбросив обломки, стоял какое-то время, исподлобья наблюдая, как по исковерканному кочковатому парку, ковыляясь, ошупью пробиралась к канаве машина «скорой помощи». Он закурил. В белую машину закатывали комком что-то замытое, мягое — текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок, пошел было, но тут же вернулся, раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку, снял ее с тополиного обломка, сунул в боковой карман куртки, притронулся к груди и, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны, где уже заканчивались поминки. На столе еще оставалось много всякого добра. Городские бабы не могли одолеть всю выпивку, мало их было. Отчим Людочки выпил стакан водки, вслушался в себя и выпил еще один. Постоял над столом, глядя на оробевшую жену, на настороженно примолкших баб, уже начавших мыть и разбирать собранную по соседям посуду, с сожалением оторвал взгляд от бугылки, переборол себя — заметно это было — и, махнув рукой жене, поспешил к вечерней электричке.

В почтительном отдалении поспешала за ним, но не поспевала жена, — шибко уж размашисто, шибко уж сердито шагал мужик, громко топая по асфальту. Остановился вдруг, дождал ее, взял сумку, чемодан с пожитками Людочки, помог тяжелой женщине взняться на высокую железную ступеньку, место ей в вагоне нашел, узел наверх забросил, чемодан под сиденье пяткой задвинул, и все это молча. Потом, навалившись ухом на окно, сделал вид или в самом деле успокоился, уснул. Устает-то ведь шибко на работе, на стройке, по хозяйству. Она какая ему помощница?

Мать Людочки всегда чуяла в «самом» затаенную, ей неведомую страхотищу, какую-то чудовищную мощь, которую он ни разу, слава Богу, не оказал при ней, да, может, и не окажет. Отходя от жути, почему-то ее охватившей, думала про себя, о себе, творила что-то похожее на молитву: «Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет, хоть мы и старые, дитя нам будет уж как сын и как дочка, и как внук, и как внучка, оно скрепит нас, на плаву жизни удержит... А за тую доченьку, кровиночку алую, жертву жизни невинную, прости меня, Господи, если можешь... Я зла никому не делала и ее погубила не со зла... Прости, прости, прости...»

Мать Людочки и не заметила, что давно уже громко шепчет, выговаривая пляшущими губами слова, что все лицо ее снова залито слезами, но «сам» вроде бы и не слышал ее, даже курить в тамбур не выходил. И она несмело положила голову на его плечо, слабо прислонилась к нему, и показалось ей, или на самом деле так было, он приспустил плечо, чтоб ловчее и покойней ей было, и даже вроде бы локтем ее к боку прижал, пригрел.



У местного отделения УВД так и не достало сил и возможностей расколоть Артемку-мыло. Еще с одним строгим предупреждением он был отпущен домой. Выполняя наказ властей взяться за ум, но скорее с перепугу поступил Артемка-мыло в училище связи, не в то, где пэтэушники работают с мудреными приборами, компьютерами и аппаратами, а в филиал его, где учат лазить по столбам, ввинчивать стаканы и натягивать провода. С испугу же, не иначе, Артемка-мыло скоро женился, и у него по-стахановски, быстрее всех в поселке через четыре всего месяца после свадьбы народилось кучерявое дите, улыбочивое и веселое. На крестинах отец Артемки-мыло, заслуженный пенсионер, смеялся, говорил, что этот малый с плоской головой, потому что на свет белый его вынимали щипцами, уже и с папино мозговать не сумеет, с какого конца на столб влезть — не сообразит.

На четвертой полосе местной газеты в конце квартала появлялась заметка о состоянии морали в городе и было сообщено, что за отчетный период в городе совершилось три убийства, сто пять квартирных краж, пятнадцать налетов на прохожих с целью снятия одежды, была попытка ограбить районную кассу, но тут же ее пресекли бдительные силы милиции, крупных краж и преступлений с особо тяжкими последствиями не наблюдалось, насилий было всего восемь, угонов транспорта — тридцать два, налетов на дачи одиннадцать. Конечно, о полном покое граждан и моральном благополучии в городе говорить еще рано, однако, благодаря профилактической работе и усилению внимания местных властей к оздоровлению общества посредством спортивной деятельности, в частности, за счет открытия плавательного бассейна на базе локомотивного депо, где подогретая вода давно уже течет попусту, преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на один и семь сотых процента.

Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления УВД оставалось два года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными данными. Людочка и Стрекач, не оставившие после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном журнале УВД по линии самоубийц, беспричинно, попросту говоря — сдуру, наложивших на себя руки.

